

ШЕПОТ ПРИБОЯ

КОГДА ШТОРМ ПРОБУЖДАЕТСЯ,
ТАЙНЫ ВСПЛЫВАЮТ.

РЕНА ОКАЦУКИ

18+

Рёна Окацуки
Шёпот Прибоя

«Автор»

2026

Окацуки Р.

Шёпот Прибоя / Р. Окацуки — «Автор», 2026

Скай Рамирес никогда не просила разрешения. Двадцать лет, дерзкая, острая на язык, она живёт в крошечном Ковилле под крылом дяди, который с детства рассказывал ей легенды океана — а она верила, потому что сама слышала в шуме волн нечто большее, чем просто шум. Райан Брукс — полная противоположность шумной Скай. С детства он слышит «шёпот» волн — голоса, рассказывающие истории тех, кто ушёл на дно, — и считает это проклятием, пока однажды не встречает девушку с родинкой-звездой под глазом, которая, кажется, тоже слышит океан. Она не боится его странности. Она сама — странность, сгусток азарта, соли и ветра. На залитом солнцем побережье Калифорнии разворачивается история, где океан становится живым участником — свидетелем, союзником и порой провокатором. Что связывает древние легенды, которые рассказывают старейшины у костра, с голосами, звучащими в голове Райана? Почему вода отзывается на эмоции Скай? И какова цена дара, который нельзя ни отвергнуть, ни объяснить?

© Окацуки Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

PLAYLIST	5
Глава 1. Легенда, которую нельзя рассказать дважды	6
Глава 2. Пена на губах	12
Глава 3. Глубина, которая слышит в ответ	29
Глава 4. Штиль перед штормом	36
Глава 5. Подарок не ко дню	47
Глава 6. Голоса на закате	62
Глава 7. Обыкновенное волшебство	67
Глава 8. Тишина глубины	76
Глава 9. Когда океан затихает	82
Глава 10. Голоса не лгут	105
Глава 11. Прилив надежды	111

Рёна Окацуки Шёпот Прибоя

PLAYLIST

Lana Del Rey - Summertime Sadness
Chase Atlantic - Moonlight
Hospital - Falling
ENVYYOU - Wrong
3OH!3 - Don't Trust Me
Xuitcasecity - Misunderstood
Jay Sean, Alan Sampson - Ride it
Ex Habit - love me
Haiden Henderson - sweat
Chris Grey - FUNHOUSE
Chri\$Tian Gate\$ - BABYDOLL
Apollo Paris - Bedroom Fashion Show
Michl - Everything'll Change
The Marias - Hush
Marino - Worst Enemy
State Champs - Stitches
Goo Goo Dolls - Iris
Seafit - Be My Queen
David Correy - May May
Jake Alan - Take Me Away
Creed - One Last Breath
Ron Pope - A Drop in the Ocean
Munn - LOVE ME ON LEAVE ME
Fun Guns - Shut Up And Dance With Me
You Me At Six - Take on the World

Глава 1. Легенда, которую нельзя рассказать дважды

*Океан не знает твоего имени, но
помнит форму твоей тени на своей
глубине. В этом — всё его
милосердие и всё равнодушие.*

— *Из приписываемых речений Антипатра Сидонского, «О природе вод»*

Расчёска двигалась медленно — от виска к затылку, захватывая пряди настолько бережно, что я переставала чувствовать границу между зубьями и кожей, между тем, что было моим телом, и тем, что принадлежало этому вечеру, пропитанному запахом сандалового масла, старого воска и соли, застрявшей в волосах после утреннего купания, — а голос дяди Джексона плыл над моей макушкой, низкий, чуть хрипловатый, словно камешки перекатывались в такт словам, словно океан за открытым окном вторил ему шёпотом, который я тогда ещё не умела разбирать, — и вечер красил стены нашей маленькой гостиной в Ковилле в оранжевый, розовый, а после в густой синий, и расчёска всё не останавливалась, потому что легенда не терпела пауз, а Джексон не терпел недослушанных историй.

— Скай, океан, — начинал он всякий раз, и в этом «океан» не было ни капли метафоры, он обращался прямо к стихии, словно та сидела с нами в комнате, поджав под себя колени, мокрая, огромная, терпеливая, — океан не умеет забывать. Он помнит каждое слово, брошенное в него с берега, с палубы, с обрыва. Помнит крики, молитвы, проклятия, имена, которые шептали влюблённые в ухо друг другу, думая, что волны унесут их тайну, а волны никуда её не уносили. Они складывали слова в глубокие впадины, в желоба на дне, туда, куда не добирается солнечный свет, и хранили их, как хранит старуха-соседка пожелтевшие письма в жестяной коробке из-под печенья. Ты же помнишь миссис Олсен? — спрашивал он, хотя миссис Олсен жила через три дома от нас, и её коробку я видела однажды, когда носила ей лимонный пирог по поручению Джексона, — и расчёска замирала на полсекунды, ровно на столько, чтобы я успела кивнуть, а потом продолжала свой путь вниз, к лопаткам, где волосы становились гуще и непослушнее.

— Так вот, — Джексон перекладывал расчёску в левую руку, правой расправляя спутанный узел, и его пальцы пахли табаком, которым он никогда не курил, но почему-то пахли, и ещё лимоном, и ещё чем-то металлическим, будто он весь день перебирал монеты, хотя никаких монет у нас отродясь не водилось, — случилось это задолго до того, как первые испанские корабли увидели эти берега. Задолго до того, как люди научились строить лодки, способные переплыть залив. Тогда здесь жили те, кого сейчас никто не помнит, даже океан с трудом вспоминает их лица, хотя имена ещё хранит, у него память на имена куда лучше, чем на лица. И жил среди них юноша — назовём его — тут Джексон делал паузу, прищурился, будто высматривая что-то в сгущающихся за окном сумерках, — назовём его Тот-Кто-Слушал. Нет, не так. Слушающий. Просто Слушающий, без громких титулов, потому что громкие титулы — это для королей, а он был кем-то вроде тебя, — и тут он легонько щёлкал меня расчёской по затылку, не больно, а скорее чтобы я не засыпала, хотя заснуть под его голос было невозможно: он ввинчивался в мозг, как штопор в пробку, и оставлял там дырку, в которую потом затекали мысли, когда я оставалась одна в своей кровати, глядя в потолок и слушая, как океан дышит в темноте.

— Слушающий был странным. Все странные — это не плохо, Скай, запомни, это просто значит, что человек сделан из другого теста, — и тут он опять щёлкал меня по затылку, словно ставил печать под каждым важным утверждением, — но тогда странность не прощали.

Он не умел охотиться: стрела летела мимо цели, стоило ему натянуть тетиву. Не умел говорить с соплеменниками: слова застревали в горле, как рыбы кости. Он мог часами сидеть на скале и смотреть на воду — просто смотреть, представляешь? — и люди обходили его стороной, думали, злой дух поселился в нём. А он не просто смотрел. Он слушал. Вода говорила с ним — нет, не словами, Скай, вода никогда не говорит словами, слова — это человеческая придумка, слишком грубая, слишком тесная для того, что плещется в глубине, — она говорила ритмом. Ритмом прибоя, ритмом отлива, ритмом шторма, который зарождается за много миль от берега и катится к тебе, наращивая мощь, как снежный ком. И Слушающий понимал этот ритм. Он чувствовал его пятками, когда стоял на мокром песке, ладонями, когда опускал руки в воду, даже затылком, когда ложился спать в отдалении от посёлка, чтобы никто не мешал ему слушать. И однажды ритм изменился.

Джексон замолчал. Расчёска дошла до самых кончиков, теперь он просто держал её в руке, а я сидела не шевелясь, боясь спугнуть тишину, которая вдруг стала плотной, как кисель, в котором я варилась на медленном огне его голоса. За окном крикнула чайка — хрипло, требовательно, словно тоже хотела знать, что было дальше, — и Джексон усмехнулся, качнул головой, будто отвечая не мне, а ей, или океану, или самому Слушающему, который ждал продолжения своей истории где-то там, в глубине, куда солнечный свет не добирается.

— Ритм изменился, — повторил он. — Вода перестала петь то, что пела всегда. Понимаешь, у океана есть своя песня, одна на всех: прилив — отлив, прилив — отлив, и так тысячу лет, и ещё тысячу, и ещё. Но в тот день песня смолкла. Сначала Слушающий решил, что оглох. В панике он ударил себя по ушам ладонями, потом снова опустил руки в воду, потом лёг на песок и прижался к нему щекой, — я живо представила себе эту картину: мокрый песок, прилипший к скуле, отчаянный взгляд человека, который потерял единственное, что у него было, — но нет. Уши слышали крики чаек, шум ветра, треск цикад в траве, уши слышали всё, кроме океана. Океан молчал. Не затих, как затихает перед штормом, — нет, штормовая тишина всё равно дышит, она наполнена ожиданием, как надутый парус, — океан молчал так, как молчит камень, как молчит пустыня, как молчит человек, который только что услышал самую страшную весть в своей жизни и ещё не успел осознать её. И тогда Слушающий сделал то, чего не делал никогда прежде: он заговорил с водой. Не просто опустил руки, не просто прижался щекой — он открыл рот и сказал слово.

— Какое слово? — спросила я, нарушая правило не перебивать, но Джексон не рассердился, только улыбнулся краешком рта, и в его усах запутался оранжевый луч закатного солнца.

— Этого никто не знает, Скай, — он пожал плечами, и расчёска качнулась в его пальцах. — Может, это было имя. Может, вопрос. Может, просто крик — тот самый крик, что рождается в животе, когда ты теряешь что-то настолько важное, что даже не можешь назвать это словами. Никто не знает. Но океан услышал. И ответил. Впервые за тысячи лет вода заговорила — не ритмом, не гулом, не плеском, а настоящим голосом, который ввинтился Слушающему прямо в уши, в кости, в кровь, и голос этот сказал.

Тут Джексон опять сделал паузу — на этот раз длинную, мучительную, как растянутое ожидание волны, которая всё никак не поднимается, всё никак не обрушивается на берег, — и я почувствовала, как воздух в комнате стал солёным, хотя окно было открыто и запах моря всегда проникал внутрь, но сейчас он сделался гуще, концентрированнее, будто сам океан придвинулся ближе к нашему дому и заглянул в окно, чтобы тоже послушать.

— Голос сказал: «Я устал». Представляешь? Океан устал. Не от штормов, не от приливов — от того, что его никто не слушает. Люди приходили к нему каждый день: купаться, ловить рыбу, пускать по воде плоские камешки, которые прыгали по поверхности, оставляя круги, — но никто, никто за всё время не попытался услышать то, что он говорит. Все только брали, брали, брали — рыбу, соль, прохладу в жаркий день, — а взамен ничего не давали. Даже простого внимания. Даже минуты, проведённой в молчании, когда ты сидишь на берегу и просто

слушаешь. Понимаешь, о чём я? — и Джексон заглянул мне в глаза, наклонив голову, так что его лицо оказалось прямо перед моим, и от него пахло табаком и лимоном, и глаза у него были цвета старой бирюзы, выцветшей на солнце, и в тот момент я верила каждому его слову так, как верят только дети и те, кто уже перестал быть детьми, но ещё не забыл, как это — верить.

— И тогда Слушающий пообещал океану, что будет слушать его всегда, — продолжил Джексон, выпрямляясь и снова берясь за расчёску, хотя мои волосы были уже гладкими, как шёлк, но движение расчёски было не столько необходимостью, сколько частью ритуала, такой же важной, как сам голос, как запах сандала, как чайка, которая всё кричала за окном, не желая улетать. — Он пообещал, что каждый день будет приходить на берег и слушать. Не для того, чтобы получить что-то взамен, — хотя океан, конечно, дал ему многое, как ты понимаешь, — а просто чтобы вода знала: есть на свете человек, которому не всё равно. И океан принял обещание. Он снова запел, вернул свой ритм, но теперь этот ритм звучал для Слушающего иначе — в нём прорезались голоса, те самые, что вода собирала тысячелетиями. Крики моряков, ушедших на дно вместе с кораблями. Шёпот влюблённых, обещавших друг другу вечность на берегу, пока волны лизали им пятки. Плач матерей, провожавших сыновей в плавание. Молитвы жрецов, бросавших в воду золотые статуэтки, чтобы задобрить богов. Всё это звучало теперь в шуме прибоя, сплетаясь в такую музыку, которую невозможно забыть, однажды услышав.

— А что было дальше? — спросила я, когда пауза затянулась дольше обычного, и уже стемнело за окном окончательно, и Джексон зажёл лампу, которая отбрасывала на стены длинные, колеблющиеся тени, делая нашу гостиную похожей на подводный грот.

— Дальше? — он хмыкнул. — А дальше Слушающий прожил жизнь. Долгую, по тем временам — очень долгую. Он научил своего сына слушать океан. А тот — своего. А та — свою дочь. И так пошло, и поехало, и завертелось колесо поколений, и каждое из них рождало хотя бы одного человека, способного слышать воду. Не всех подряд, Скай, — тут он опять щёлкнул меня расчёской, на этот раз по носу, легонько, как котёнка, — океан выбирает. Не спрашивай меня, по какому принципу. Может, ему нравятся те, кто сам немножко сломан, немножко не такой, как все, кто не боится тишины и умеет сидеть на скале часами, ничего не требуя. Может, ему нравятся те, у кого в волосах путается слишком много соли, а под глазом — отметина, похожая на звезду. Кто знает.

И он провёл пальцем по моей родинке — той самой, что сидела прямо под левым глазом, крошечная звёздочка, которую я сама никогда толком не видела, только в зеркале, и то если смотрела пристально, — но Джексон знал её на ощупь, как слепой знает шрифт Брайля, и от этого прикосновения у меня по коже побежали мурашки, не холодные, не горячие, а какие-то третьи, не имеющие отношения к температуре. — Легенда говорит, что Слушающий до сих пор сидит где-то на дне, — Джексон отложил расчёску на подоконник, туда, где лежали принесённые с берега ракушки, высохшие морские звёзды и кусок обточенного волнами стекла, ставший гладким, как леденец. — Не умер. Не уплыл. Просто сидит и слушает. И ждёт. Ждёт, когда родится кто-то, кто сможет не просто слышать океан, а ответить ему — не одним словом, не криком отчаяния, а целой беседой, диалогом, который снова заставит воду запеть по-новому. Потому что океан опять устал, Скай. Он слушает нас каждый день: наши крики, наши моторные лодки, наши сонары, наши нефтяные вышки, наш мусор, который мы швыряем в него, как в гигантскую помойку. Он слушает, слушает, слушает — а кто слушает его? Кто приходит на берег и просто садится, и молчит, и выпускает в себя ритм? Никто. Может, один на миллион. Может, одна на всё побережье.

Он встал, потянулся, хрустнув суставами — стареющий мужчина, который провёл весь день на ногах, вырезая из дерева очередную фигурку для туристов, — и пошёл на кухню ставить чайник, а я осталась сидеть на полу, обхватив колени руками, и смотрела на расчёску, лежавшую среди ракушек, и думала о том, слышит ли меня сейчас океан, и если да, то что

именно я могла бы ему сказать — и нужно ли ему вообще слушать девчонку, у которой даже волосы ещё не отросли до пояса, а словарный запас состоит из школьных уроков и припевов песен, которые крутят по радио.

Чайник засвистел, и Джексон вернулся с двумя кружками — травяной чай, пахнувший ромашкой и мятой, — и сел в своё кресло, и отхлебнул, обжигаясь, и поморщился, и сказал, глядя в потолок: — Только есть одна загвоздка, Скай, о которой легенда умалчивает. Вернее, не умалчивает, а говорит так тихо, что никто не обращает внимания. Слушающий пообещал океану слушать — но не предупредил тех, кто придёт после него. Понимаешь? Дар этот — он не награда. Это как если бы тебе дали скрипку, которая играет сама, без твоего участия, и ты не можешь ни остановить её, ни перестать слышать. Она играет, когда ты ешь, когда ты спишь, когда ты пытаешься разговаривать с людьми, и её музыка заглушает человеческие голоса, делает их плоскими, неважными, как шум машин за окном. Можно сойти с ума, если не научиться договариваться. А договариваться трудно. Вода — она как дикий зверь. Она не признаёт договоров, написанных чернилами. Ей нужен другой язык. И никто, никто из потомков Слушающего так и не нашёл этот язык до конца. Кто-то сдался и перестал слушать — и тогда океан замолчал для него навсегда, а он сам остался с пустотой внутри, с такой тишиной, которая страшнее любого шторма. Кто-то пытался заглушить голос вином, или странствиями, или любовью, которая не приносила счастья. А кто-то просто пропал — ушёл в море и не вернулся, и никто не знает, забрала ли их вода или они сами пошли к ней, не в силах больше сопротивляться зову.

Он допил чай, поставил кружку на подоконник, рядом с ракушками, и вздохнул — тяжело, с натугой, словно выдыхал не воздух, а что-то гораздо более весомое.

— Поэтому, когда ты в следующий раз захочешь послушать океан, — а я знаю, что ты ходишь слушать, я видел тебя на скале, — помни: он не просто поёт. Он рассказывает. И рассказывает он не всегда хорошее. Иногда такое, от чего волосы встают дыбом, а ноги сами бегут прочь от берега. Иногда — такое, что хочется смеяться, как ребёнку, и плясать на песке, и кричать во всё горло от радости. Но самое страшное — это когда он рассказывает то, чего ты не понимаешь. Когда слова или ритмы, или что там у него вместо слов, проникают в тебя, а расшифровать их ты не можешь. Тогда они остаются внутри, как заноза, как камень в ботинке, как рыболовный крючок, загнанный под кожу, — и болят, и чешутся, и не дают спать, пока ты не догадаешься, что именно хотела сказать тебе вода.

Он посмотрел на меня долгим взглядом, и в свете лампы его глаза казались совсем прозрачными, как мелководье в солнечный день.

— Но если ты всё-таки рискнёшь слушать, Скай, — и если однажды услышишь не просто ритм, а слова, или почти слова, или что-то, что можно принять за речь, — не пугайся. Значит, ты не сумасшедшая. Значит, Слушающий всё ещё сидит на дне и всё ещё ищет преемников. И, возможно, — только возможно, я ничего не утверждаю, — он нашёл одну из них в девочке с родинкой-звездой под левым глазом, которая не умеет держать язык за зубами, зато умеет сидеть на скале и смотреть на воду так, будто ждёт ответа.

Я ничего не сказала. Я сидела, прижав колени к груди, и слушала, как чайник остывает на плите, как цикады заводят свою ночную переключку в траве, как где-то далеко, у самого горизонта, ворочается океан, переключаясь с места на место тонны воды, и как в этом ворочании мне вдруг почудился ритм — не тот, что бывает у прибоя, а другой, сбивчивый, как сердцебиение, как дыхание спящего человека, — и я подумала, что, может быть, это просто разыгралось воображение, распалённое дядиной легендой, но почему-то мне не хотелось в это верить. Хотелось верить, что где-то там, на дне, сидит древний старик с рыбьим хвостом или без, неважно, и слушает всё, что происходит наверху, и ждёт кого-то, кто сможет ответить.

— А как узнать? — спросила я шёпотом, хотя никто, кроме Джексона, не мог меня услышать. — Как узнать, что океан выбрал тебя?

Джексон пожал плечами — его любимый жест, означавший одновременно «я не знаю» и «разбирайся сама», — и улыбнулся. — Этого легенда не говорит, Скай. Но я думаю, что если тебя выбрали, ты поймёшь. Не сразу. Может, не в этом году и не в следующем. Но однажды ты выйдешь на берег, и вода лизнёт твои пятки, и ты почувствуешь что-то. Как будто тебя позвали по имени. Как будто кто-то ждал именно тебя. И тогда ты либо побежишь прочь, либо останешься. И если останешься — что ж, тогда и начнётся самое интересное.

Он подмигнул мне, потрепал по макушке — мои волосы уже высохли и рассыпались по плечам, пахнувшие сандалом и чем-то ещё, что я не могла назвать, но что навсегда связалось у меня с этими вечерами, с этой комнатой, с этим голосом, — и ушёл в свою мастерскую, оставив меня одну в гостинной, полной теней и отзвуков легенды, которая ещё не кончилась, но уже пустила корни во мне, как водоросль, зацепившаяся за подводный камень.

А я сидела и слушала — уже по-другому, не так, как прежде. Прежде я слушала просто потому, что любила звук волн, как любят вкус шоколада или тепло камина в холодный вечер. Теперь же я слушала, пытаюсь различить в этом звуке что-то ещё — может, те самые голоса, что копил океан тысячелетиями, может, тот самый ритм, который изменился много веков назад, когда один странный юноша с плохой координацией и неумением поддерживать светскую беседу открыл рот и произнёс слово, изменившее всё. Я напрягала слух так сильно, что у меня заболели виски, но ничего, кроме обычного прибоя, не услышала. Океан дышал ровно, размеренно, как дышит зверь, который притворяется спящим, но следит за тобой сквозь полуприкрытые веки.

И тогда я встала, подошла к окну и выглянула наружу. Луна уже поднялась — огромная, бледно-жёлтая, заливающая Тихий залив серебристой рябью, которая дробилась на тысячи осколков, словно кто-то рассыпал по воде монеты. Скала, на которой я любила сидеть, чернела справа от пляжа, и сейчас, в лунном свете, она напоминала голову черепахи, высунувшуюся из воды, чтобы глотнуть воздуха, — и я поклялась себе, что завтра же утром пойду на эту скалу, сяду на её шершавую макушку и буду слушать. Не просто так, как раньше, а по-настоящему. Так, как учил Джексон, — ничего не требуя, не ожидая, отключив внутренний голос, который вечно болтает о своих девчоночьих глупостях, и просто впуская в себя ритм.

И где-то в глубине дома, в мастерской, зашуршала наждачная бумага — Джексон принялся за очередную фигурку, и этот звук был таким земным, таким домашним, что я вдруг ощутила острый укол благодарности к этому мужчине, который взял меня к себе, когда больше никто не хотел брать, и который рассказывал мне легенды вместо сказок на ночь, и который никогда не смеялся над моими вопросами, даже самыми глупыми, — и расчёска всё ещё лежала на подоконнике среди ракушек, напоминая о том, что сегодняшняя вечер была не просто вечером, а чем-то вроде инициации, только я ещё не понимала, во что именно меня посвятили.

Волосы пахли сандалом. За окном шумел океан — и в этом шуме мне снова почудился ритм, на этот раз более отчётливый, как будто вода подбиралась всё ближе к тому, чтобы заговорить, но пока ещё только настраивала инструменты, пробовала струны, дула в трубы, проверяя, не фальшивят ли. И я заснула прямо там, на подоконнике, положив голову на руки, и мне снились голоса — не слова, не мелодии, а именно голоса, множество голосов, сплетённых в один бесконечный хор, который пел о чём-то печальном и прекрасном одновременно, о том, чего я пока не могла понять, но обязательно пойму, когда придёт время, потому что легенда не заканчивается на последнем слове рассказа, легенда только начинается там, где рассказчик замолкает и откладывает расчёску в сторону, предоставляя тебе самой решать, верить ли в услышанное или забыть его, как забывают сон через пять минут после пробуждения. Но я не забыла. Я не забыла ни слова. И океан тоже ничего не забыл — он помнил всё, каждую слезинку, каждую клятву, каждое имя, и он ждал, когда я вырасту достаточно, чтобы начать слушать по-настоящему, а пока он просто дышал в темноте, размеренно и терпеливо, как зверь,

который знает, что у него впереди вечность, и несколько лет для него — не больше, чем взмах ресниц для человека.

Где-то в доме скрипнула половица — Джексон шёл спать, гася за собой свет. Расчёска лежала на подоконнике, и лунный свет играл на её деревянных зубьях, превращая их в подобие маленькой арфы, на которой никто никогда не играл, но которая, возможно, могла бы зазвучать, если бы по ней провели пальцами достаточно чутко, — и я подумала, что когда-нибудь, когда я стану старше и смелее, я попрошу Джексона рассказать эту легенду ещё раз, чтобы запомнить каждую деталь, каждую паузу, каждый оттенок его голоса, каждый скрип расчёски, каждое движение его пальцев, пахнувших табаком и лимоном, — но это будет потом, а пока океан дышал за окном, и я дышала вместе с ним, проваливаясь в сон, где голоса звучали всё громче, всё отчётливее, но слов я по-прежнему не разбирала, только чувствовала, что они обращены ко мне, что вода говорит не вообще, а лично, прицельно, как говорят только с теми, кого долго ждали и наконец дождались.

Глава 2. Пена на губах

*Знаешь, что мексиканцы говорят про
Тихий океан? Говорят, что у него
нет памяти.*

Скай Рамирес

Скай

— Пойнтбрейк берёт Гаррет Уайлд! Только посмотрите, как он лавирует!

Голос комментатора разорвал солёный воздух над Тихой Бухтой, заметался между скалами, отразился от воды и ушёл в небо, где его подхватили чайки и растащили на клочки, — а я уже лежала на доске, загребая воду ладонями, чувствуя, как мышцы плеч наливаются тем особенным теплом, которое приходит только перед стартом, только когда адреналин ещё не превратился в действие, а уже поджаривает кровь изнутри, делая её гуще и горячее, — и Гаррет, чёртов Гаррет Уайлд с его идеальной техникой и лицом с рекламы спортивного питания, уже скользил по склону волны, не подозревая, что слева, из слепой зоны, к нему приближаюсь я, Скай Рамирес, девчонка из Ковилла, которая никогда не просила разрешения.

— Ч-что это?! Это же Скай Рамирес, и она подрезает Гаррета! Откуда она взялась?!

Волна поднималась — медленно, величественно, как просыпающийся левиафан, — и в её теле я видела не просто воду, а целую географию: гребень, который закручивался в трубу, шипящую пеной, провал у основания, где вода становилась тёмно-зелёной, почти чёрной от глубины, и тот самый изгиб, за которым прятался Гаррет, уверенный, что волна принадлежит ему, — но волна не принадлежит никому, это мне ещё Джексон говорил, когда учил стоять на доске, когда я падала, захлёбывалась, снова забиралась на доску, а он стоял по колено в воде и смеялся, и его смех звучал как лай тюленя, — и сейчас я входила в эту волну не как воровка, а как хозяйка, которая вернулась домой после долгого отсутствия, и дом принял её, узнал, подставил спину, чтобы она могла взобраться повыше.

— Рамирес — одна из немногих девушек, кто дерзко ловит волну и отбирает славу у соперников! Ей всего двадцать лет, и в прошлом году она словила самую крупную волну за последние два года! Только посмотрите, какие она делает трюки! Бо, ты это видел?

— Видел, потрясающий контроль тела и доски.

Я не слышала их — не до конца, — звук долетал обрывками, как радиоволна, пробивающаяся сквозь помехи, потому что всё моё существо сосредоточилось в ступнях, в ладонях, в позвоночнике, который сейчас был не костью, а осью, вокруг которой вращался целый мир, и мир этот состоял из воды, ветра и скорости, — я оттолкнулась от гребня, поймала доской угол, который никто, кроме меня, не заметил, тот самый микроскопический перепад высоты, где волна чуть замедлялась перед тем, как обрушиться, — и вошла в трубу раньше Гаррета, срезав ему траекторию настолько чисто, насколько вообще можно срезать траекторию человеку, который даже не подозревал о твоём существовании.

Пена хлестнула по лицу — не больно, а скорее отрезвляюще, как пощёчина от учителя, который хочет привести тебя в чувство перед экзаменом, — и на долю секунды я оказалась внутри волны, в её сердце, где свет преломлялся в бирюзовый, зелёный, аквамаринный, где время замедлялось до густоты сиропа, где тишина стояла такая, что звенело в ушах, — и в этой тишине я услышала ритм. Не тот, что слышала в детстве, когда Джексон рассказывал легенды, а другой — резкий, требовательный, как барабанная дробь перед казнью, — и я поняла, что волна сейчас обрушится, нужно уходить, выскальзывать, пока труба не сомкнулась за спиной, превратив меня в фарш из костей и стекловолокна.

Доска слушалась, как продолжение моего тела — или это тело слушалось доску, я никогда не могла понять, где заканчиваюсь я и начинается она, — и я вышла из трубы за секунду до того, как волна рухнула, обдав меня водяной пылью, которая засверкала в солнечном свете миллионом крошечных радуг, и берег ахнул, взорвался криками, свистом, чьими-то воплями «*Ра-ми-рес! Ра-ми-рес!*», и я, всё ещё стоя на доске, всё ещё балансируя на грани падения и полёта, позволила себе улыбнуться — не потому, что победила, а потому, что волна ответила мне, приняла, признала своей.

А потом я увидела Гаррета.

Он выгребал из воды метрах в пятнадцати от меня, и даже на расстоянии, даже сквозь солёную пелену, застилавшую глаза, я разглядела выражение его лица — смесь ярости, унижения и ещё чего-то, что я не сразу опознала, а опознав, усмехнулась про себя, — уважения. Не того уважения, которое дарят, снимая шляпу и раскланиваясь, а того, которое выгрызают зубами, которое рождается из столкновения двух эго на одной волне, когда один из них оказывается быстрее, наглее, безрассуднее, — и Гаррет, привыкший быть быстрее всех, сейчас оказался вторым, и это жгло его сильнее, чем медуза, сильнее, чем песок, набившийся в гидрокостюм.

Я соскользнула с доски в воду — тёплую, мягкую, обнимающую, — и поплыла к берегу, волоча доску за собой на лише, чувствуя, как адреналин понемногу отпускает, оставляя после себя приятную пустоту, лёгкость, какая бывает после долгого бега, когда ноги ещё гудят, а дыхание уже выровнялось, и ты идёшь по просёлочной дороге, и ветер остужает разгорячённую кожу.

Пляж встречал меня шумом — зрители, столпившиеся у кромки воды, фотографы с длинными объективами, судьи в белых поло, что-то отмечавшие в планшетах, и группа серферов, которые уже вылезли на берег и теперь наблюдали за мной с тем особым выражением, какое бывает у парней, когда девчонка делает то, что они считали своей монополией, — смесь восхищения и досады, разбавленная нежеланием это восхищение признавать.

Я вышла из воды, отстегнула лиш, воткнула доску в песок — хвостом вниз, так что она встала вертикально, как надгробная плита, — и стянула с головы резиновую шапочку, встряхнув мокрыми волосами, которые рассыпались по плечам, закапали солёной водой на песок, на плечи, на чьи-то босые ноги, — и в этот момент на меня надвинулась тень.

— Какого чёрта ты вытворяешь, Рамирес?

Гаррет возник из ниоткуда, хотя нет, не из ниоткуда — он шёл от воды, и его доска висела под мышкой, и капли стекали по его животу, по этим его кубикам пресса, на которые сохли все девчонки от Сан-Диего до Сан-Франциско, но сейчас его живот был просто животом — мокрым, загорелым, принадлежавшим человеку, который не привык проигрывать и которому только что указали на его место.

— Серфингом занимаюсь, — ответила я, не оборачиваясь, выжимая волосы, и солёные струйки побежали по запястьям, зашекотали локти. — А ты что вытворяешь? Стоишь и сверлишь мне спину взглядом, как будто это что-то изменит.

Он обошёл меня, встав лицом к лицу — точнее, лицом к моему лбу, потому что я была на полголовы ниже, но это никогда не мешало мне смотреть на него так, будто это он ниже на все тридцать сантиметров, — и в его карих глазах, которые обычно напоминали растопленный шоколад, сейчас плескалось что-то тёмное, бурное, как нефть, и челюсть ходила ходуном, пережёвывая слова, которые он не мог выплюнуть сразу.

— Ты подрезала меня, — процедил он сквозь зубы, и от него пахло морем и какой-то дорогой эссенцией, которой натирают доски, чтобы они лучше скользили, — на волне так не делают, это мой выход был, ты не имела права, ты вообще неизвестно откуда взялась, тебя не было в заявке на этот хит, я проверял список, твоего имени там не было, — и его голос

поднялся на полтона, стал выше, тоньше, почти мальчишеским, и я вдруг поняла, что он не столько зол, сколько растерян, и эта растерянность бесила его больше, чем само поражение.

— Хит переиграли, — я пожала плечами, стянула молнию гидрокостюма на спине, насколько могла дотянуться, и кожу тут же обдало ветерком, прохладным, приятным, — организаторы передвинули сетку, если бы ты не торчал в зоне разминки, сверкая кубиками перед фанатками, ты бы знал. Но ты же у нас звезда, тебе не до каких-то там переигровок, у тебя расписание: автограф-сессия, потом фото для Инстаграма*, потом интервью, где ты расскажешь, как много работаешь над собой и как любишь океан. Океан, кстати, — я кивнула в сторону воды, которая всё так же катила волны, равнодушная к нашим разборкам, — тебя сегодня не заметил. А меня заметил. Так бывает, Гаррет. Привыкай.

И я улыбнулась улыбкой, которую ненавидела моя школьная учительница по литературе, миссис Гринберг, говорившая, что с таким выражением лица не в колледж поступать, а грабить банки, — и Гаррет дёрнулся, как от пощёчины, и сделал шаг вперёд, сократив расстояние между нами до опасного минимума, того, на котором уже чувствуешь чужое дыхание и тепло чужой кожи.

— Ты думаешь, это смешно? — спросил он тихо, и от этой тишины, пришедшей на смену крику, стало не по себе, как будто вода вдруг перестала шуметь, хотя она шумела, конечно, но внутри моей головы всё замерло. — Ты думаешь, можно просто заявиться на соревнования, которые я готовил полгода, и отжать у меня волну, как какую-то мелочь из кармана? Ты вообще кто такая, Рамирес? Я тебя не знаю. Никто тебя не знает. Ты всплыла в прошлом году из какой-то дыры, поймала одну волну, и теперь строишь из себя королеву серфинга? Да ты никто. Ты просто девчонка с пляжа, которая неплохо стоит на доске и которой повезло родиться с родинкой под глазом, чтобы её запоминали.

Он выдохнул — шумно, с присвистом, — и я увидела, как на его скулах проступил румянец, не от загара, а от гнева, который он пытался сдержать, но у него получалось плохо, очень плохо, потому что Гаррет Уайлд, звезда Пойнтбрейка, любимец спонсоров, парень с плакатов, не привык проигрывать, а проигрывать девчонке — тем более.

И вот тут я должна была бы обидеться или испугаться, или хотя бы отступить на шаг, потому что он был выше, тяжелее и явно не в том состоянии, чтобы шутить, но я никогда не делала того, что должна была, вместо этого я склонила голову набок, как чайка, заметившая в песке что-то съедобное, и оглядела его с ног до головы — медленно, демонстративно, задержав взгляд на доске, на дрожащих пальцах, сжимавших её край, на каплях, стекавших по виску, — и сказала, растягивая слова, как тянут ириску, пока она не порвётся:

— Закончил? Или будет вторая часть — про то, как я сломала тебе жизнь и растоптала мечты? Потому что если будет, я, пожалуй, присяду, — я оглянулась через плечо, делая вид, что ищу что-то, — вон там, у скамейки, удобное местечко, и попкорна куплю, у них тут продают, кажется, с карамелью, а ты продолжай, не стесняйся. Я люблю, когда мне рассказывают, кто я такая. Особенно те, кто видит меня во второй раз в жизни.

Гаррет моргнул. Его ресницы — длинные, девчоночьи, совершенно не подходящие к его брутальной челюсти и широким плечам, — слиплись от соли, и это придало ему растерянный вид, как у ребёнка, который наступил в лужу и не понимает, плакать или смеяться.

— Ты — начал он, осёкся, начал снова: — Ты невыносима. Ты хоть понимаешь, что нажила себе врага? Что я тебя теперь из каждого заезда выживать буду, пока ты не уберёшься обратно в свой Ковилл или откуда ты там вылезла? — и он ткнул пальцем в мою сторону, не касаясь, но достаточно близко, чтобы воздух дрогнул, — я тебя запомнил, Рамирес. Я тебя очень хорошо запомнил.

— Ну наконец-то, — я картинно выдохнула, прижав ладонь к груди, туда, где под гидрокостюмом всё ещё колотилось сердце, разогнанное адреналином, но уже входившее в нормальный ритм, — а то я уж думала, так и останусь для тебя пустым местом, мимо которого

ты проходишь, не замечая. А теперь запомнил — прогресс. Знаешь, Гаррет, — я шагнула к нему, сократив оставшееся расстояние до того минимума, когда уже непонятно, то ли драка начнётся, то ли поцелуй, то ли и то и другое одновременно, — если ты собрался меня выживать, тебе придётся сначала научиться смотреть по сторонам. Потому что пока ты смотрел только вперёд, а я пришла слева. И справа могу. И снизу, если понадобится. Волна — она круглая, Гаррет, она не прямая, как твоя карьера на автопилоте. И пока ты будешь заучивать траектории, я буду их придумывать на ходу. А теперь, — я отступила, взялась за доску и выдернула её из песка, — извини, мне нужно на пьедестал, или куда там ставят тех, кто только что выиграл хит. Попкорн я, так и быть, куплю на свои.

И я пошла прочь, чувствуя спиной его взгляд — тяжёлый, жгучий, прожигающий гидрокостюм до самых лопаток, — и где-то в животе, там же, откуда поднималось раздражение, когда я смотрела на него и видела всё: его бешенство, его растерянность, его неспособность понять, как какая-то девчонка из Ковилла посмела обойти его на волне, — в том же самом месте зарождалось и что-то ещё, чему я не хотела давать названия, потому что называть — значит признавать, а признавать — значит усложнять себе жизнь, которая и без того была достаточно сложна.

— Рамирес! — окликнул он, когда я отошла на десяток шагов, и я остановилась, не оборачиваясь, только повернула голову вполборота, так что он видел мою родинку-звезду, мой левый глаз, мой уголок рта, изогнутый в усмешке. — Ты хоть понимаешь, что это был чистейший сёрф, и ты его испортила? Что судьи теперь снимут баллы нам обоим, потому что это не соревнования, а цирк, который ты устроила?

— Понимаю, — ответила я, перебрасывая доску под другую руку, — и знаешь, что ещё понимаю? Что когда ты шёл на волну, ты её не слышал. Ты слышал только себя. А волна — она живая, Гаррет. Она выбирает тех, кто её слышит. Можешь записать это в свой блокнотик для афоризмов, я разрешаю. Бесплатно.

И не дожидаясь ответа — потому что лучший способ оставить за собой последнее слово, это не дать собеседнику возможности его произнести, — я зашагала к судейской палатке, где меня уже ждали Бо и второй комментатор, и фотографы, и кто-то с камерой, и группа поддержки из Ковилла — Джексон, который наверняка стоял где-то в толпе, скрестив руки на груди и улыбаясь в усы, — и толпа зрителей, которая расступалась передо мной, как вода перед носом доски, признавая право пройти, право быть здесь, право считать эту волну своей, даже если какой-то Гаррет Уайлд думает иначе.

Я воткнула доску в песок — хвостом вниз, так что она встала вертикально, надгробной плитой над всеми, кто сегодня проиграл, — и, не оглядываясь на Гаррета, чей взгляд всё ещё буравил мне спину, прожигая гидрокостюм до лопаток, зашагала к пьедесталу, сооружённому из трёх разновысоких платформ, выкрашенных в цвета спонсоров — кричаще-оранжевый, небесно-голубой, белый, как пена, — и толпа расступалась передо мной, как вода перед носом доски, и где-то в этой толпе мелькнуло лицо Джексона, его седая щетина, его руки, скрещенные на груди, его усмешка, говорившая без слов: *«Ну и представление ты устроила, девочка»*, — а я уже ставила босую ногу на первую ступеньку, чувствуя, как нагретое солнцем дерево отдаёт тепло в свод стопы, поднимаясь выше, выше, пока не оказалась на верхней платформе, на том самом месте, которое пахло лаком для волос, оставшимся после предыдущего победителя, и солью, и триумфом, — и упёрла руки в бока, расправив плечи, подставив лицо солнцу, позволяя победной ухмылке растянуть губы, за которую меня ненавидела миссис Гринберг и за которую меня — я знала — сейчас ненавидел Гаррет.

— Итак, первое место занимает несравненная Скай Рамирес!

Голос комментатора взлетел над пляжем, подброшенный динамиками, и толпа отозвалась рёвом, свистом, аплодисментами, которые хлопали, как паруса на ветру, — а я стояла, запрокинув голову, и смотрела, как чайки кружат над головой, выписывая в небе те же тра-

ектории, что я выписывала на волне, только у них не было судей, не было Гарретов, не было ничего, кроме крыльев и ветра, — и в этот момент чья-то рука легла на моё плечо, тяжёлая, властная, пахнувшая санскрином и мокрым деревом, и я повернула голову, встречаясь взглядом с главным судьёй — седоватым мужчиной, который судил соревнования столько, сколько я себя помнила, и чьё лицо напоминало карту приливов: всё в линиях, складках, отметинах, оставленных временем и солью.

Он наклонился к моему уху — его дыхание было горячим и чуть кисловатым, как у человека, который весь день пил кофе из термоса, забывая поесть, — и прошептал, не разжимая зубов, так что слова выползли наружу, как змеи из корзины: — В следующий раз у тебя будут проблемы, Рамирес. Хватит уже так делать.

Я скосила на него глаз — левый, под которым сидела родинка-звезда, — и ухмыльнулась ещё шире, так что кожа на скулах натянулась, став тугой, как парус при полном ветре.

— Бросьте, — ответила я ему вполголоса, почти мурлыча, почти ласкаясь, как кошка, которая только что стащила со стола целую рыбку и абсолютно не раскаивается, — было же весело. Вы видели лицо Гаррета? Оно остаётся сексуальным даже в гневе, я просто в бешенстве от этого.

Судья поперхнулся — не воздухом, не слюной, а чем-то средним между смехом и возмущением, — и его пальцы сжали моё плечо чуть крепче, чем требовалось для дружеского жеста.

— Доложу тренеру об этом, — пообещал он, но в его голосе уже не было той стали, что минуту назад, а была усталость, смешанная с обречённостью человека, который понимает, что докладывать бесполезно, потому что я всё равно сделаю по-своему, потому что я всегда делаю по-своему, потому что Рамирес — это синоним слов «проблема» и «талант» в равных пропорциях, и разбавлять эту смесь нечем.

Я хмыкнула — коротко, сухо, как треск ломающейся ветки, — и отвернулась от судьи, снова обращая лицо к толпе, к солнцу, к океану, который катил волны, равнодушный к пьедесталам, но почему-то сегодня особенно громкий, особенно ритмичный, словно вода аплодировала мне на своём языке.

— Второе место занимает Гаррет Уайлд!

И вот он поднялся на платформу — медленно, тяжело, как человек, несущий на плечах мешок с камнями, — и встал слева от меня, на ступеньку ниже, и его челюсть всё ещё ходила ходуном, пережёвывая злость, которую некуда было выплюнуть, и капли воды стекали по его вискам, по его скулам, по его шее, затекая в ямку между ключицами, где кожа была чуть светлее, потому что солнце не добиралось туда даже в самые жаркие дни, — и я, не удержавшись, наклонилась к нему через разделявшие нас сантиметры дерева, через разделявшие нас мили гордости, и сказала, растягивая слова, как ленивый кот растягивает лапы на солнцепёке:

— Не расстраивайся, красавчик, в следующий раз повезёт.

Он дёрнул головой, и капля с его волос сорвалась, полетела вниз, разбилась о дерево платформы микроскопическим взрывом, — а его глаза, карие, глубокие, полыхнули такой яростью, что, будь я из тех, кто боится, я бы, наверное, прыгнула с пьедестала прямо сейчас, но я не была из тех.

— Пошла ты, — произнёс он одними губами, почти беззвучно, но я прочитала, разобрала по движению рта, по изгибу верхней губы, которая чуть приподнялась, обнажая зубы, — и эти зубы были белыми, ровными, как у акулы, но акулы не обижаются, когда у них отнимают рыбу, а Гаррет обижался, и это делало его живым, уязвимым, почти симпатичным, хотя симпатичным он был всегда, даже когда злился, особенно когда злился.

Я снова хмыкнула — на этот раз чуть длиннее, чуть мягче, — и выпрямилась, возвращая взгляд к судье, который уже держал в руке очередную карточку, прищурившись на неё, будто там было написано что-то, чего он сам не ожидал.

— И третье место занимает Райан Брукс!

Тишина.

Не та тишина, что наступает перед штормом, когда всё замирает в ожидании, и не та, что бывает в библиотеке, где даже страницы переворачивают шёпотом, — а особая тишина, которая возникает, когда назвали имя, а в ответ ничего не произошло: ни шагов по песку, ни приветственного взмаха рукой, ни даже робкого «я здесь», — и толпа зашевелилась, зашептала, закурила головами по сторонам, выискивая того, кого объявили, но никто не шёл к пьедесталу, и платформа справа от меня оставалась пустой, одинокой, как забытый на пляже шлёпанец.

— Эм Райан? — произнёс судья, поднося микрофон ближе к губам, и его голос, усиленный динамиками, прокатился над пляжем, отразился от скал, ушёл в океан, где его, наверное, подхватила какая-нибудь волна и унесла к горизонту, потому что Райан Брукс так и не появился.

Я огляделась по сторонам — медленно, пристально, — выискивая в толпе тёмную шевелюру, высокую фигуру, доску под мышкой, но ничего, никого, только незнакомые лица, только фотографии с объективами, нацеленными на пустую платформу, только чайки, которые орали над головой, обсуждая что-то своё, чаячье.

Снова тишина — теперь уже гуще, плотнее, пропитанная неловкостью, — и судья кашлянул, отвёл микрофон в сторону, потёр переносицу пальцем, тем самым жестом, каким люди пытаются отогнать начинающуюся головную боль.

— Что ж, видимо, у Райана случились непредвиденные обстоятельства в который раз, — он вздохнул, и в этом вздохе было столько усталой покорности, столько привычки к тому, что третий призёр не является на церемонию, что я невольно заинтересовалась: кто этот парень, который стабильно выигрывает и стабильно не приходит за наградой? — Кхм. Поздравляем победителей и расходимся.

Толпа захлопала — сначала неуверенно, сбивчиво, как аплодисменты в театре, где зрители не уверены, кончился ли акт или будет продолжение, — потом громче, бодрее, и кто-то свистнул, и кто-то крикнул «*Рамирес!*», и где-то на задворках сознания я отметила, что моё имя звучит чаще, чем имя Гаррета, и это было приятно, как первый глоток холодной воды после долгого заплыва.

Я бросила триумфальный взгляд на Гаррета — поверх его головы, поверх его гордости, поверх его сжатых кулаков, — и увидела, как он скрипит зубами, в прямом смысле скрипит, и желваки на его скулах ходят туда-сюда, как поршни, и где-то в глубине его карих глаз плещется нечто, чему я пока не могла подобрать названия: смесь ненависти, уважения и ещё чего-то, тёмного, вязкого, отчего у меня вдруг потеплело под ложечкой, но я запретила себе об этом думать, потому что думать о Гаррете Уайлде дольше необходимого было вредно для здоровья — и для сердца, и для нервов, и для репутации.

Я прыгнула с пьедестала — приземлилась на обе ноги, согнув колени, почувствовав, как песок пружинит под пятками, — и выдернула доску из песка, что всё это время стояла вертикально, как немой свидетель моего триумфа, и, закинув её под мышку, двинулась прочь от берега, прочь от судей, прочь от Гаррета, чей взгляд я всё ещё чувствовала спиной, — но спине было всё равно, спина привыкла, спина загорела до бронзы и закалилась до стали за те годы, что я отвоёвывала своё место под солнцем, под ветром, под волнами.

— Снова ты подрезала бедного парня.

Голос дяди Джексона догнал меня раньше, чем я успела дойти до тропинки, ведущей от пляжа к парковке, — и я, не сбавляя шага, только скосила глаза в его сторону, увидела его фигуру, прислонившуюся к старому эвкалипту, его руки, скрещенные на груди, его усмешку, запрятанную в усы, но всё равно заметную, как бакен в тумане.

— Дядя! — я изобразила возмущение, хотя возмущаться не получалось, потому что он был прав, а когда Джексон был прав, это бесило больше всего. — Я его первый раз подрезала. Первый! Ты слышишь?

— А до этого? — он отлепился от дерева, зашагал рядом, и его шаги были длиннее моих, так что ему приходилось чуть сдерживаться, чтобы не обгонять, — тот рыжий парень, как его там? Маркус? Майлз? Которому ты сломала траекторию на Большом Пятне в прошлом ноябре, так что он вылетел из соревнований и до сих пор, говорят, боится заходить в воду глубже чем по колено.

— Мэтт, — поправила я, вздыхая, — его звали Мэтт, и он сам подставился, я тут ни при чём.

— А брюнет? — продолжал Джексон, и в его голосе зазвучали те самые нотки, что бывали, когда он рассказывал легенды, — размеренные, тягучие, затягивающие, — тот, с побережья Биг-Сура, который после встречи с тобой переквалифицировался в кайтсёрферы, потому что решил, что так у него больше шансов остаться в живых?

— Тайлер, — я закатила глаза, хотя закатывать глаза на ходу, босиком, по тропинке, усыпанной эвкалиптовыми коробочками, было неудобно, — Тайлер сам виноват, он занял мой пик, все знают, что та скала — моя, я там сижу с десяти лет, и если кто-то суётся на мою территорию тому хана.

— А блондин? — Джексон даже не пытался скрыть улыбку, теперь она расплзлась по всему лицу, от уса до уса, от морщинки у глаза до морщинки у другого, — тот, с Гавайев, с которым ты столкнулась на региональных, и он потом сказал журналистам, что ты — «природное бедствие в человеческом обличье»?

— Кай, — я остановилась, повернулась к нему лицом, упёрла свободную руку в бок, доской едва не задев его плечо, — Кая я вообще не подрезала, мы просто одновременно вошли в волну, так бывает, это не подрезка, это стечение обстоятельств.

— Одновременно, — повторил Джексон, и в его глазах цвета выцветшей бирюзы запрыгали смешинки, — ну конечно. Стечение обстоятельств. Как сегодня, да? Ты просто мимо проплывала, никого не трогала, а тут вдруг волна — и ты на ней, и Гаррет Уайлд где-то внизу, под твоей доской, глотает пену и проклинает тот день, когда записался на эти соревнования.

— Ну что же я поделаю, — я пожалала плечами, перебросила доску под другую руку, потому что первая начала затекать, и продолжила идти, но теперь медленнее, подстраиваясь под его шаг, — если они такие слабаки? Серьёзно, дядя, если человек не умеет смотреть по сторонам, это его проблема. Океан — не частная собственность, волны — не именные, я не виновата, что я быстрее соображаю, лучше чувствую воду, раньше замечаю тот самый момент, когда надо вставать на доску. Это не подрезка, это тактика. Спортивная тактика. А то, что она оставляет их с носом, — я усмехнулась, — ну, значит, им есть над чем работать.

Джексон хмыкнул так, что клониться к обычным завершению всех наших споров, когда он признавал мою правоту, но не хотел признавать её вслух, — и мы вышли к парковке, где его старый пикап, пахнувший деревом и бензином, ждал нас, подставив солнцу облезлый капот, и я закинула доску в кузов, забралась на пассажирское сиденье, пахнущее табаком, который Джексон никогда не курил, но почему-то всегда пах им, — и захлопнула дверцу, отсекая шум океана, крики чаек, эхо аплодисментов, которые всё ещё звучали где-то на пляже, провожая меня в мой Ковилл.

Пикап, дребезжа всем, что могло дребезжать, а могло в этом кузове практически всё — и болтающаяся цепь, которой Джексон крепил доски, и пустая канистра, забытая после последней поездки на заправку, и ящик с инструментами, который жил своей жизнью, перекатываясь от борта к борту на каждом повороте, — вкатился в Ковилл, когда солнце уже начало клониться к горизонту, окрашивая небо в те самые оранжевые, розовые, а после в густой синий тона, что я помнила с детства, с вечеров, когда расчёска ходила вниз по моим волосам, а голос Джексона

плыл над макушкой, рассказывая легенды, от которых мурашки бежали по коже не хуже, чем от ледяной воды Тихой Бухты декабрьским утром, — и едва мы свернули на Главную улицу, единственную улицу, которая гордо носила это звание, хотя была всего лишь цепочкой домов, вытянувшихся вдоль береговой линии, как ракушки, налипшие на корягу, — я заметила, что у крыльца «Солёного тюленя», нашей местной забегаловки, столпились люди.

Не толпа, нет — в Ковилле не набралось бы достаточно народу на толпу, даже если бы сюда согнали всех, включая младенцев и глубоких стариков, — а именно кучка, горстка, несколько десятков человек, которые, завидев наш пикап, замахали руками, засвистели, заулюлюкали так, что чайки, сидевшие на проводах, снялись и улетели, возмущённо крича на своём чайчьем языке.

— А вот и наша чемпионка! — раздался голос Мариссы, хозяйки «Солёного тюленя», которая стояла на крыльце, уперев руки в бока, и её фартук, вечно испачканный мукой и жиром, развевался на ветру, как боевое знамя. — Скай Рамирес, чтоб тебя акула укусила, ты опять устроила шоу! Мне уже три человека позвонили и сказали, что ты там Гаррета Уайлда чуть не утопила!

Джексон затормозил, заглушил двигатель, и пикап, чихнув напоследок сизым дымком, затих, а я выпрыгнула из кабины, ещё не успев толком коснуться ногами земли, но уже улыбаясь, уже расправляя плечи, уже готовясь к особому ритуалу, который в Ковилле заменял и пресс-конференции, и интервью, и всё то, чего у нас никогда не было, но что нам и не требовалось.

— Я его не топила, — ответила я, захлопывая дверцу и направляясь к крыльцу, где меня уже обступили со всех сторон: Марисса, пахнущая жареными кальмарами, старый Финн, чьи руки были вечно перепачканы рыбьей чешуёй, Марко, владелец единственного в деревне магазинчика, где можно было купить и консервы, и ласты, и открытки с видами залива, и ещё несколько человек, чьи лица я знала столько, сколько себя помнила. — Он сам на волну зашёл, я просто зашла чуть раньше, это технический момент, никто не пострадал, и если вы будете слушать всех, кто вам звонит, Марисса, вы скоро поверите, что я и цунами могу вызвать, и шторм наколдовать, и рыбу распугать.

— А ты можешь? — подал голос старый Финн, шурясь хитро, и его глазки, выцветшие до цвета старой газеты, блеснули из-под кустистых бровей, — потому что в прошлый вторник, когда ты тренировалась у Большой скалы, у меня весь улов сорвался, а я ведь знаю, что это твоя скала, Рамирес, ты там с детства торчишь, как баклан.

— Если бы я могла распугивать рыбу, Финн, — я подошла к нему и легонько хлопнула по плечу, почувствовав под ладонью жёсткую ткань его неизменной клетчатой рубахи, пропахшей солью и табаком, тем самым табаком, что напоминал мне Джексона, только у Финна он был настоящим, а не воображаемым, — поверьте, я бы давно открыла бизнес: *«Рамирес и сыновья, отпугивание конкурентов в промышленных масштабах»*. Но нет, не могу, увы, так что ваш улов — это ваша ответственность, а не моя.

Все засмеялись смехом, какой бывает только в маленьких посёлках, где каждая шутка обкатана годами, как галька прибором, и всё равно каждый раз звучит свежо, — и Марисса, отсмеявшись, вытерла руки о фартук и шагнула ко мне, заключив в объятия, от которых пахло мукой, жареным маслом и ещё чем-то неуловимым, чем всегда пахнут женщины, которые кормят людей за деньги, но вкладывают в еду больше, чем просто ингредиенты.

— Молодец, девочка, — сказала она мне в макушку, потому что я была ниже неё на полголовы и моя макушка как раз приходилась ей под подбородок, — я не понимаю в этом серфинге ни черта, ты же знаешь, я и на доске-то никогда не стояла, боюсь воды дальше чем по колено, но когда я слышу, что наша Скай обставила этих выпендрёжников из Сан-Диего, у меня сердце поёт. Заходи, я тебе приготовила твой любимый лимонный пирог, с хрустящей корочкой. Ещё тёплый, только из духовки.

И она отпустила меня, подтолкнув к двери «Солёного тюленя», и я вошла внутрь, в полумрак, пахнувший деревом, солью, выпечкой и тем особым запахом, какой бывает только в прибрежных кафе, где на стенах висят спасательные круги, а под потолком — рыбацкие сети, а на подоконниках лежат ракушки, высохшие морские звёзды и куски обточенного волнами стекла, ставшие гладкими, как леденцы, — и я вдруг на секунду перенеслась в нашу гостиную, в тот вечер, когда расчёска лежала на подоконнике среди точно таких же ракушек, а голос Джексона рассказывал легенду о Слушающем, и мурашки побежали по спине, хотя в кафе было тепло и пахло пирогом.

— Ну, рассказывай, — Марко уселся за стойку, подперев щеку кулаком, и его лысина, блестящая в свете лампы, напоминала полированный шар для боулинга, — как ты его уделала? Говорят, он там чуть не плакал. Я видел его фотографии, он такой ну, ты понимаешь, — Марко покрутил рукой в воздухе, пытаясь подобрать слово, но, как всегда, не преуспел, потому что его словарный запас был под стать ассортименту его магазинчика: ограничен, но функционален.

— Плакал? — я фыркнула, усаживаясь за стойку и пододвигая к себе тарелку с пирогом, которую Марисса уже поставила передо мной, и вилка, блеснувшая в свете лампы, легла в ладонь, как продолжение пальцев. — Гаррет Уайлд не плачет, Марко, он скрежещет зубами. Это такой особый вид эмоциональной разрядки, доступный только тем, у кого пресс в двенадцать кубиков и спонсорский контракт с производителем спортивного питания. Он стоял на пьедестале и выглядел так, будто у него отобрали рождественский подарок, а потом сказал мне «пошла ты», и это было самое искреннее, что он сказал за весь день.

— Ого, — Марко присвистнул, — «пошла ты»? Прямо так и сказал? Не «ты нарушила правила», не «я буду жаловаться судьям», а просто «пошла ты»?

— Просто «пошла ты», — подтвердила я, откусывая кусок пирога, и лимонная кислота взорвалась на языке, смешиваясь со сладостью сахарной пудры и маслянистой нежностью теста, — и знаешь, что я тебе скажу? Это было почти приятно. По крайней мере, честно. Без этих его обычных штучек: «я профессионал», «я работал над этим полгода», «это соревнования, а не цирк». Цирк, кстати, я ему предложила. Сказала, что если он хочет меня выживать, пусть сначала научится смотреть по сторонам. Волна, говорю, круглая, а не прямая, как твоя карьера на автопилоте. По-моему, получилось неплохо.

— Волна круглая, — повторил старый Финн, который тоже зашёл в кафе и теперь стоял у двери, прислонившись к косяку и скручивая самокрутку, хотя Марисса сто раз говорила ему не курить в помещении, но Финну было сто лет в обед, и запрещать ему что-то было так же бессмысленно, как запрещать чайкам кричать, — а ты у нас острая на язык, Скай, всегда была острой. Помню, ты ещё вот такой, — он опустил ладонь до уровня колена, — приходила ко мне на причал и спрашивала, почему рыбы не разговаривают. А я тебе говорил: потому что они заняты, у них дела, им некогда болтать с девчонками, которые ещё не научились стоять на доске. А ты мне: «Ну и ладно, я и без них научусь, и буду лучше всех, и никакие рыбы мне не понадобятся». И ведь научилась.

Я перестала жевать, уставившись на Финна с тем странным чувством, какое бывает, когда кто-то напоминает тебе о том, что ты сама давно забыла, — и в груди потеплело, хотя, возможно, это был просто горячий чай, который Марисса поставила передо мной, не спрашивая, хочу ли я, потому что в «Солёном тюлене» не спрашивали, здесь просто знали.

— Я такого не говорила, — сказала я, хотя не была уверена, — не могла я такого сказать, мне было, наверное, лет шесть, откуда у шестилетнего ребёнка такие амбиции?

— От дяди твоего, откуда же ещё, — Финн кивнул на Джексона, который как раз вошёл в кафе, пригибаясь в дверях, потому что дверной проём «Солёного тюленя» был рассчитан на людей нормального роста, а Джексон был выше нормального на целую голову, — он тебя воспитал так, что ты теперь любого парня за пояс заткнёшь, ещё и подколоть успеешь, пока он будет думать, что ответить. Я вон Гаррета этого по телевизору видел — красивый, спору нет,

и на доске стоит как бог, но лицо у него как у человека, который никогда не проигрывал. А это опасно, Скай. Проигрывать надо уметь. Ты вон умеешь, я помню, как ты в четырнадцать лет на первых своих соревнованиях грохнулась с доски и полчаса редела в машине, а потом вышла — и снова в воду.

— Я не редела, — возразила я, но щёки предательски потеплели, и я уткнулась в пирог, чтобы скрыть этот румянец, который, к счастью, не был замечен под загаром, — это был ветер, у меня глаза слезились от ветра, Финн, и ты прекрасно это знаешь.

— Конечно, ветер, — согласился Финн, и его глаза блеснули из-под бровей с тем выражением, какое бывает у стариков, которые помнят всё, но соглашаются с твоей версией событий из чистой вежливости, — ветер, он такой, в августе особенно. Дует и дует, и слёзы сами текут.

Джексон, усевшийся на соседний табурет, хмыкнул в усы и ничего не сказал, но его молчание было красноречивее слов, и я почувствовала, как внутри меня разливается тепло — то самое, которое не имело отношения ни к пирогу, ни к чаю, ни к августовскому солнцу, а имело отношение только к этому месту, к этим людям, к этому посёлку, который не был мне родным по крови, но стал родным по всему остальному.

— Кстати, о парнях, — Марисса вытерла стойку тряпкой и наклонилась ко мне, понизив голос до заговорщицкого шёпота, хотя в кафе были только свои и скрывать что-то было бессмысленно, — а что там за третий призёр? Райан Брукс? Который не явился? Я смотрела трансляцию, у меня внучка прислала ссылку, и я видела, как судья три раза повторил его имя, а его всё не было и не было. Это тот самый парень, что живёт на отшибе, у Старой лагуны? Ну, высокий такой, тёмненький, молчаливый? Я его видела пару раз на пляже, он серфит один, рано утром, когда все нормальные люди ещё спят, и у него такое лицо, будто он всё время к чему-то прислушивается. Станный он. Я ему как-то кофе предложила, когда он мимо проходил, так он на меня посмотрел так, будто я не кофе предлагаю, а как минимум билет на Марс. Ничего не сказал, только кивнул и пошёл дальше.

— Райан Брукс, — повторила я, откладывая вилку, и его имя прозвучало в моём рту незнакомо, чуждо, как слово на языке, который ты учишь по учебнику, но никогда не слышал вживую, — я не знаю его. То есть вообще. Он выигрывает соревнования и не приходит за наградами? Это который раз, судья сказал? «В который раз»? Что это значит?

— Это значит, — подал голос Марко, который, как выяснилось, знал больше, чем показывал, — что парень выигрывает медали, кубки или что там у вас дают, но никогда не появляется на церемониях. Я слышал от ребят из Санта-Круза, что он вообще ни с кем не общается. Серфит, как бог, это все говорят, но на тусовки не ходит, в компанию не напрашивается, интервью не даёт, Инстаграма у него нет, представляешь? В наше-то время. Его никто не может сфотографировать нормально, он всё время где-то в стороне, в тени. Невидимка, короче. Был парень — и нет парня. Только волны за ним скучают, наверное.

Я задумалась, рассеянно водя вилкой по остаткам лимонного крема на тарелке, и перед моим внутренним взором встала пустая платформа справа от меня, та самая, которая должна была быть занята, но осталась сиротливо торчать под солнцем, как забытый на пляже шлёпанец, — и что-то в этом всё меня зацепило, какая-то зазубрина, которую я не могла ухватить, как рыболовный крючок, застрявший под кожей, о котором Джексон рассказывал в легенде.

— А ты его видел когда-нибудь? — спросила я у Джексона, который спокойно пил свой чай, и пар от кружки поднимался к его лицу, оседая капельками на усах. — На воде? На пляже?

— Пару раз, — ответил он, не отрываясь от кружки, и его голос звучал ровно, но я слишком хорошо его знала, чтобы не заметить ту микроскопическую паузу, которая возникла перед «пару раз», ту самую паузу, которая означала, что он обдумывает, сколько именно можно рассказать, не нарушая чьих-то границ. — Рано утром, как Марисса и сказала. Он выходит на воду до восхода, когда ещё темно, и серфит при лунном свете. Я его видел с обрыва, когда ездил за деревом для фигурок. И знаешь — Джексон поставил кружку, повернулся ко мне, и его глаза

цвета выцветшей бирюзы вдруг стали серьёзными, без привычной усмешки, — он серфит не так, как ты. Вообще не так, как кто-либо из тех, кого я видел. Он не борется с волной. Он с ней танцует, что ли. Или поёт. Не знаю, как объяснить. Он не быстрее тебя, не техничнее Гаррета, но когда он на доске — волна слушается его, как живая. Как будто он знает что-то, чего не знает никто.

— Ритм, — сказала я тихо, и слово вырвалось само, раньше, чем я успела его обдумать, и Джексон посмотрел на меня тем долгим взглядом, каким смотрел в тот вечер, когда закончил рассказывать легенду и отложил расчёску на подоконник, — ты говоришь про ритм. Про тот самый ритм, который слышал Слушающий.

— Может быть, — ответил Джексон и пожал плечами — своим любимым жестом, означавшим одновременно «я не знаю» и «разбирайся сама». — А может, и нет. Может, он просто хороший серфер, которому не нравятся люди. Такое тоже бывает.

Но я уже не слушала. Я смотрела в окно «Солёного тюленя», туда, где за домами, за эвкалиптами, за старой пристанью чернела гладь Тихой Бухты, сейчас спокойная, как зеркало, и думала о парне, который выходит на воду до рассвета, серфит при луне и слышит что-то, чего не слышат другие, — и где-то внутри, там же, откуда в детстве поднималось предвкушение, когда Джексон говорил: «А теперь слушай внимательно», — зашевелилось любопытство, острое, как рыба кость, которую невозможно выплюнуть.

— Ладно, хватит о загадочных парнях, — Марисса хлопнула ладонью по стойке, разгоняя повисшую тишину, и её голос снова стал громким, хозяйским, заполняющим всё пространство, — у нас тут чемпионка не кормлена, не поена, а вы её расспросами мучаете. Скай, дорогая, хочешь добавки? У меня ещё есть крабовый суп, вчерашний, но ты же знаешь, наваристый — три дня варился, бульон из панцирей, шафран, сливки, секретный ингредиент, о котором я никому не рассказываю.

— Секретный ингредиент — это бренди, — сказал Финн, не отрываясь от самокрутки, — ты всегда добавляешь бренди в крабовый суп, Марисса, и думаешь, что никто не замечает, но я-то чую, у меня нос профессиональный, я рыбу нюхаю сорок лет, а бренди нюхаю пятьдесят.

— Финн, иди ты со своим носом, — беззлобно отмахнулась Марисса, но глаза её смеялись, и она уже наливала мне суп, не дожидаясь ответа, и аромат, поплывший от тарелки — сливочный, чуть сладковатый, с глубокой нотой шафрана и той самой алкогольной горчинкой, о которой говорил Финн, — был таким знакомым, таким домашним, что я вдруг почувствовала, как усталость этого дня — соревнования, погоня за волной, столкновение с Гарретом, пьедестал, дорога домой — наваливается на плечи, но не тяжёлым грузом, а тёплым одеялом, под которым хочется свернуться калачиком и уснуть прямо здесь, за стойкой, под разговоры стариков и звон посуды.

— Спасибо, Марисса, — сказала я, обхватывая ладонями горячую тарелку, и жар прошёл сквозь кожу, разлился по запястьям, добежал до локтей, — ты лучшая.

— Я знаю, — ответила она, подмигивая, и вернулась к плите, где что-то шипело и булькало, требуя её внимания, — но всё равно приятно слышать.

И пока я ела суп, обжигаясь и дуя на каждую ложку, а Джексон допивал свой чай, а Марко рассказывал Финну последние новости о том, что в Санта-Крузе собираются открывать ещё один супермаркет и это, по его мнению, было началом конца для маленьких магазинчиков, а Финн возражал, что маленькие магазинчики пережили испанцев, англичан, американцев, землетрясение восемьдесят девятого и нашествие медуз две тысячи третьего — переживут и супермаркет, — я думала о том, что где-то там, на отшибе, у Старой лагуны, живёт парень, который выигрывает соревнования и не приходит за наградами, который серфит при лунном свете и ни с кем не разговаривает, который, возможно, просто нелюдим, а возможно — и от этой мысли мурашки снова пробежали по спине — знает что-то, чего не знает никто, и, может

быть, именно поэтому океан шепчет ему на языке, которого я пока не понимаю, но очень хочу научиться.

Комната тонула в синем, каким бывает только поздним вечером, когда солнце уже ушло за горизонт, но ещё не забрало с собой последние отголоски света, и экран ноутбука, стоявшего на полу, отбрасывал на стены дрожащие тени, а я висела вниз головой, уперев босые пятки в стену, чувствуя, как кровь приливает к лицу, делая щёки горячими, а мысли — чуть замедленными, чуть тягучими, как патока, — и сериал, какой-то дурацкий ситком про студентов-медиков, которые влюблялись не в тех, в кого следовало, мелькал перед глазами перевёрнутыми картинками, но я не столько смотрела, сколько слушала, позволяя смеху за кадром заполнять комнату, чтобы не было так тихо, потому что тишина в Ковилле по вечерам бывала слишком густой, слишком глубокой, такой, в которой начинали звучать голоса из легенд Джексона, и это не всегда было приятно.

Мои руки — загорелые до бронзы, с белыми полосками от лиша на щиколотке и браслетом из плетёного шнура на запястье — упирались в половицы, и каждая половица имела свой голос: третья от окна поскрипывала, если перенести вес на левую ладонь, пятая от двери отзывалась глухим стуком, если пошевелить пальцами, а та, что под самым плинтусом, молчала, как камень, потому что Джексон заменил её два года назад и ещё не успела она набраться памяти дома, не успела выучить наши шаги, наши привычки, наши позы, — и висеть так, вниз головой, было классикой жанра, я делала это с детства, с тех пор как Джексон впервые застал меня в такой позе, не удивился, не ахнул, не спросил, не сломаю ли я шею, а просто перешагнул через мои руки, взял с полки книгу и вышел, бросив на ходу: *«Только не усни, а то завтра будешь ходить с синяками под глазами, подумают, что я тебя бью»*, — и с тех пор это стало нашим ритуалом, таким же, как расчёска, как легенды, как запах сандала и табака, который не курили.

Дверь скрипнула и в комнату вошёл Джексон, и его силуэт, подсвеченный лампой из коридора, упал на стену рядом с моими ногами, длинный, чуть сутулый, с вечной щепкой, застрявшей в волосах над ухом.

— Скай, идёшь? — спросил он, и его голос прозвучал буднично, словно я не стояла на руках у стены, а сидела за столом, как нормальный человек, но в том-то и дело, что в нашем доме нормальными людьми не были ни он, ни я, и это устраивало обоих. — Сегодня старейшины будут легенды океана рассказывать мальчикам, вся деревня будет возле кострища.

Я скосила глаза в его сторону — задача не из лёгких, когда ты висишь вниз головой и весь мир представляет собой перевёрнутую картинку, где пол — это потолок, а Джексон — это человек, идущий по потолку, как муха, — и улыбнулась, чувствуя, как улыбка получается кривой, потому что щёки сдавило прилившей кровью.

— Ну конечно! — я попыталась изобразить энтузиазм, и он получился вполне искренним, потому что легенды океана были моей слабостью с детства, и ничто не изменилось с тех пор, как мне было шесть, десять, пятнадцать, и вот теперь двадцать, а я всё так же замирала, когда кто-то начинал рассказывать историю, от которой пахло солью и древностью. — Надеюсь, хотя бы в этот раз что-нибудь про русалок скажут, очень интересные легенды про них.

— Про русалок? — Джексон хмыкнул, прислоняясь плечом к дверному косяку и скрепя руки на груди, и его усы дрогнули в той самой усмешке, которая означала, что он знает больше, чем говорит, но не скажет, пока не наступит подходящий момент. — А ты уверена, что русалки — это те, про кого ты думаешь? Может, они вовсе не такие, как в мультиках, с хвостами и ракушками, может, они совсем другие, и легенды про них — не для слабонервных.

— Вот и узнаем, — я начала опускать ноги — медленно, контролируя каждое движение, чувствуя, как мышцы живота напрягаются, удерживая тело в плавном спуске, — и через несколько секунд мои пятки коснулись пола, а мир вернулся в нормальное положение, хотя в голове ещё гудело от перевёрнутости, и перед глазами плавали цветные пятна. — Только дай мне переодеться, я не пойду в этом, — я указала на растянутую майку с логотипом серф-

бренда, которую носила дома, и на шорты, которые помнили ещё мой первый год в старшей школе, — а то малышки подумают, что чемпионка Пойнтбрейка ходит в обносках.

— Чемпионка Пойнтбрейка может ходить в чём угодно, — резонно заметил Джексон, уже разворачиваясь к выходу, — она уже всем всё доказала. Но если хочешь нарядиться — давай быстрее, все почти собрались, я видел с крыльца, как Финн тащит к кострищу свою скамейку, ту самую, что скрипит как чайка, и Марисса уже раздаёт детям какао.

Он вышел, и его шаги простучали по коридору — сначала к кухне, где он, судя по звуку, взял куртку, потому что вечера в Ковилле были прохладными даже в августе, когда океан дышал холодом, накопленным за зиму, — а я стянула майку через голову, бросила её на кровать, туда, где уже валялись мои тетради по антропологии, несколько резинок для волос и прошлогодний справочник приливов, и натянула свежую футболку — тёмно-синюю, под цвет вечера, — и джинсы, которые пахли костром с прошлого раза, когда мы всей деревней сидели у огня и старый Финн рассказывал про Летучего Голландца, а я слушала, открыв рот, как ребёнок, хотя мне было уже девятнадцать и я только что выиграла региональные соревнования.

Ноутбук я захлопнула — сериал так и остался на середине эпизода, где главный герой собирался признаться в любви, но струсил в последний момент, — и это было символично, хотя я не стала развивать мысль, потому что мысли о любви, признаниях и струсивших героях были не тем, чем мне хотелось забивать голову перед вечером легенд, — и вышла вслед за Джексоном, на ходу заплетая волосы в небрежную косу, которая всё равно распустится через полчаса от влажного воздуха, потому что в Ковилле воздух никогда не был сухим, он всегда был пропитан океаном, как губка — водой.

На улице уже стемнело — по-настоящему, не так, как в городе, где темнота всегда разбавлена фонарями, витринами, фарами машин, а той кромешной, южной темнотой, какая бывает только у океана, когда луна ещё не взошла, а звёзды уже высыпали, и Млечный Путь тянется через всё небо, как дорога, по которой никто не ходит, — и мы зашагали по Главной улице, которая сейчас была пуста, только окна домов светились жёлтым, и из одного такого окна доносились музыка — что-то старое, блюзовое, что обычно слушал Марко, когда закрывал свой магазинчик и сидел на крыльце с гитарой, — а потом дома кончились, и началась тропинка, ведущая к кострищу, туда, где за эвкалиптовой рощицей, на небольшой возвышенности, был выложен каменный круг, старый, как сам Ковилл, возможно — старше, чем Ковилл, потому что Джексон однажды сказал, что камни эти помнят ещё тех, кто жил здесь до испанцев, и я ему верила, потому что он никогда не врал мне о таких вещах.

Кострище уже горело — оранжевое, живое, трескучее, — и его отсветы плясали на лицах людей, собравшихся вокруг, превращая их в подобие древних масок, и я на секунду остановилась на краю тропинки, глядя на эту картину: вся деревня, человек сорок, не больше, сидела на скамейках, на брёвнах, на перевёрнутых ящиках из-под рыбы, а кто-то просто на земле, подстелив куртку, и дети — малышки, как называл их Джексон, — сгрудились ближе всех к огню, и их лица были такими открытыми, такими ждущими, что у меня сжалось сердце, потому что я вспомнила себя в их возрасте, когда я сидела вот так же, прижавшись коленями к груди, и слушала, слушала, слушала.

— Иди, не стой, — Джексон легонько подтолкнул меня в спину, и я шагнула в круг света, и меня тут же заметили, замахали руками, задвигались, освобождая место, — и Марисса, сидевшая на раскладном стуле с термосом в руках, крикнула:

— Скай! Я уж думала, ты не придёшь, засмотрелась в свой Интернет! Иди сюда, тут как раз место рядом со мной, и у меня какао с маршмэллоу, как ты любишь, и ещё плед, если замёрзнешь, а то ты вечно ходишь в одной футболке, как будто у тебя кожа из тюленьего жира!

Я рассмеялась и пробралась к Мариссе, усаживаясь на край её пледа, и она тут же сунула мне в руки кружку с какао, горячую, обжигающую ладони, и запах шоколада смешался с запа-

хом дыма и океана, и я подумала, что, наверное, именно так пахнет счастье, если его можно понюхать.

— Итак, — раздался голос старейшины, и я повернула голову, чтобы увидеть его, — это был Томас, самый старый из всех жителей Ковилла, ему было, наверное, лет девяносто, а может, и все сто, никто точно не знал, потому что Томас не праздновал дни рождения и на все вопросы о возрасте отвечал: «*Я ровесник океана, а океан не считает годы*», — и сейчас он сидел на низкой скамеечке, закутанный в вязаный плед, несмотря на тепло костра, и его руки, узловатые, как корни эвкалипта, лежали на коленях, а голос, глухой и низкий, шёл откуда-то из глубины его груди, как шум прибоя из пещеры.

— Итак, — повторил Томас, обводя взглядом собравшихся, — сегодня мы собрались, чтобы рассказать мальчикам легенды океана. Легенды, которые слышали мы от наших отцов, а те — от своих отцов, а те — от тех, кто жил здесь до того, как первые корабли пришли из-за горизонта. И сегодня мы будем рассказывать, а вы будете слушать, и не перебивать, потому что океан не любит, когда его перебивают, — он помолчал, и в этой паузе треснуло полено в костре, выбросив сноп искр, которые взлетели в небо и погасли, не долетев до звёзд, — но сначала я спрошу: о чём вы хотите услышать? Есть у кого-нибудь пожелание?

Дети зашевелились, зашептались, запереглядывались — и я увидела, как одна девчушка, лет семи, с рыжими кудряшками, выбивавшимися из-под шапки, подняла руку, сначала неуверенно, потом всё выше, и её ладошка, подсвеченная огнём, стала розовой, почти прозрачной.

— Да, маленькая? — Томас кивнул ей, и его морщинистое лицо смягчилось, сделалось почти ласковым. — О чём ты хочешь спросить?

— Про русалок! — выпалила девчушка, и её голосок, тоненький и звонкий, прозвенел в тишине, как колокольчик на ветру, и несколько человек улыбнулись, а кто-то из старших кивнул одобрительно, и Марисса тихо фыркнула в свою кружку, а я подалась вперёд, потому что это был именно тот вопрос, которого я ждала.

— Про русалок, значит, — Томас откинулся назад, опираясь спиной о ствол эвкалипта, под которым стояла его скамеечка, и его глаза, выцветшие до цвета старой воды, уставились в огонь так, будто он видел там что-то, чего не видели мы. — Что ж, это хороший выбор. Про русалок есть много легенд — одни красивые, другие страшные, третьи такие, что и не поймёшь, красивые они или страшные, пока не дослушаешь до конца. Какую же из них рассказать?

Он обвёл взглядом собравшихся, задержавшись на мне на долю секунды дольше, чем на остальных, и я почувствовала, как по спине пробежал холодок — не от ветра, не от ночной прохлады, а от того особенного предвкушения, которое всегда появлялось, когда кто-то собирался рассказать легенду, и легенда эта могла оказаться правдой, а могла — нет, но пока она звучала, она была единственной правдой, которая имела значение.

— Я расскажу вам ту, что слышал от своего деда, — продолжил Томас, и его голос стал глубже, медленнее, и слова поплыли над костром, как дым, проникая в уши, в мысли, в сердце. — А он слышал её от своего деда, а тот — от моряка, который приплыл сюда откуда-то с юга, где вода такая синяя, что глазам больно, и где русалок до сих пор видят те, кто знает, куда смотреть. И легенда эта — не о той русалке, что сидит на камне и чешет волосы гребнем. Нет. Эта легенда — о русалке, которая полюбила человека. Но не так, как в ваших книжках, — он покосился на девчушку, спросившую про русалок, и та притихла, прижав ладошки к щекам, — не так, чтобы выйти на берег, получить ноги и жить с ним долго и счастливо. А так, как любят те, кто не может быть вместе, — отчаянно, страшно, до гибели.

Он замолчал, и в этой тишине я услышала, как океан дышит где-то внизу, под обрывом, и его дыхание было медленным, размеренным, как дыхание огромного зверя, который притворяется спящим.

— Жила когда-то у этих берегов русалка, — начал Томас, и его руки, лежавшие на коленях, чуть шевельнулись, будто он вязал невидимую сеть, — но не такая, как вы думаете. У неё

не было хвоста. У неё были ноги, и руки, и лицо — такое лицо, что люди, увидев её, забывали свои имена. Но она была русалкой, потому что рождена была океаном, и океан говорил с ней, и она отвечала ему, и вода слушалась её, как собака слушается хозяина. Она могла вызвать шторм или утихомирить волны, могла заговорить рыбу, чтобы та сама шла в сети, могла проплыть под водой от одного берега залива до другого, не всплывая за воздухом, — потому что океан давал ей воздух, когда она просила. И была она одинока, потому что все боялись её — и люди, и рыбы, и даже чайки, которые обычно ничего не боятся.

Томас сделал паузу, поднял кружку с чаем, стоявшую у его ног, отхлебнул, поморщился — то ли от вкуса, то ли от воспоминаний, — и продолжил:

— А на берегу, в деревне, которая стояла на месте нашего Ковилла, жил юноша. Не Слушающий, нет, — и тут он снова посмотрел на меня, быстро, но я заметила, и сердце стукнуло громче, — это была другая история, раньше или позже той, что рассказывал тебе Джексон, я не знаю. Юноша этот был рыбаком, простым рыбаком, который каждое утро выходил в море и каждый вечер возвращался с уловом, и не было в нём ничего особенного, кроме одного: он не боялся. Когда другие рыбаки обходили стороной скалу, где видели русалку, он шёл прямо туда. Когда другие говорили, что надо задобрить её дарами, он смеялся и говорил: «Она такая же, как мы, только живёт в воде». И однажды — это было в сумерках, когда солнце уже село, но небо ещё не потемнело, — он встретил её. Она сидела на той самой скале, что торчит из воды у Большой бухты, и волосы её, длинные, тёмные, лежали на плечах, как водоросли, и глаза её были цвета зелёной волны перед штормом, и кожа её светилась в сумерках, как лунная дорожка. И юноша не испугался. Он подплыл ближе — на своей утлой лодчонке, которая скрипела на каждой волне, — и сказал ей: «Привет».

По кругу пробежал смешок — кто-то из детей хмыкнул, кто-то из взрослых улыбнулся, — и Томас усмехнулся тоже, разведя руками.

— Вот так просто: «Привет». Ни тебе заклинаний, ни тебе даров, ни тебе страха в глазах. Просто «привет», как будто встретил соседку на рынке. И русалка — она ведь привыкла, что от неё шарахаются, что на неё молятся, что её проклинают, — она растерялась. Никто никогда не говорил с ней как с равной. И она ответила ему — не словами, сначала, а плеском воды, который сложился в ритм, напоминающий человеческую речь. И юноша понял. Понял, что она отвечает ему, и засмеялся, и сказал: «Я не понимаю твой язык, но я могу научиться, если ты подождёшь». И она стала ждать. Каждый вечер, когда солнце садилось за горизонт, он приплывал к её скале, и она ждала его, и они разговаривали — он словами, она — ритмом волн, — и постепенно он начал понимать её, а она — его, и то, что началось как любопытство, превратилось в нечто большее.

Старый Томас снова замолчал, и теперь тишина была другой — не выжидающей, а печальной, как будто все уже знали, что хорошим эта история не кончится, но всё равно хотели дослушать.

— Они полюбили друг друга, — сказал он просто, без пафоса, без украшений, и это «полюбили» прозвучало так же буднично, как «солнце встало» или «пошёл дождь», — полюбили так, как любят те, кто не может быть вместе. Он не мог жить в воде, она не могла жить на суше. Он старел с каждым годом, она оставалась молодой, потому что океан не даёт стареть тем, кто рождён им. Он должен был жениться на земной женщине и продолжить свой род, она должна была оставаться в воде и хранить тайны океана. Но они всё равно встречались каждый вечер на скале, и каждая встреча была сладкой и горькой одновременно, как морская вода, которую глотаешь, когда захлёбываешься.

Томас подался вперёд, и пламя костра осветило его лицо снизу, сделав его похожим на маску древнего божества, — и дети, сидевшие у огня, притихли, даже самые непоседливые, даже те, кто обычно дёргал соседей за волосы и кидался шишками.

— И однажды, — продолжил он, и голос его упал до шёпота, — однажды русалка сказала юноше: «Я могу дать тебе способность дышать под водой. Ты станешь как я, и мы будем вместе навсегда». И юноша согласился. Подумал день, подумал два, а на третий пришёл и сказал: «Да. Я хочу быть с тобой. Я готов». И русалка взяла его за руку — у неё были холодные пальцы и длинные ногти, острые, как рыбы кости, — и потянула его в воду, и они нырнули вместе, и вода сомкнулась над их головами, и он вдохнул — вдохнул воду, как воздух, и вода наполнила его лёгкие, но не убила, а дала новую жизнь, и он открыл глаза под водой и увидел мир, которого никогда не видел: подводные скалы, поросшие анемонами, косяки рыб, проносящиеся мимо, как серебряные стрелы, и саму русалку, которая под водой была ещё красивее, чем на поверхности, потому что здесь, в своей стихии, она светилась изнутри, как медуза.

Голос Томаса дрогнул, и он провёл ладонью по лицу — усталым жестом человека, который рассказывает историю не в первый раз, но всё равно переживает её заново.

— Но была одна загвоздка, — сказал он, и его глаза встретились с глазами рыжей девчушки, которая всё ещё сидела, прижав ладони к щекам, и теперь её губы чуть приоткрылись от напряжения. — Океан не даёт ничего просто так. За каждый дар нужно платить. И цена, которую заплатил юноша, была такой: он мог дышать под водой, но не мог дышать на воздухе. Он мог жить в океане, но не мог вернуться на сушу. И когда он понял это — когда всплыл на поверхность, чтобы попрощаться с родными, и вдруг захлебнулся воздухом, как обычный человек захлёбывается водой, — он испугался. Испугался так, как не пугался никогда. Он посмотрел на русалку — на её зелёные глаза, на её светящуюся кожу, на её холодные пальцы, — и увидел не любимую, а чужую, не человека, а существо из бездны, которое заманило его в ловушку. И он закричал. А русалка смотрела на него и не понимала — она дала ему то, что он просил, она поделилась с ним самым ценным, что у неё было, а он кричал на неё, и в его глазах был ужас. И тогда она отпустила его. Не стала удерживать. Просто уплыла в темноту, туда, где вода становится чёрной и холодной, и больше никогда не поднималась к поверхности.

Томас замолчал, и молчание это длилось долго — так долго, что дрова в костре успели просесть, выбросив сноп искр, и кто-то из взрослых подкинул новое полено, и оно занялось с треском, — а потом рыжая девчушка спросила, и её голос дрожал:

— А что случилось с юношей?

— А юноша, — Томас вздохнул, и в этом вздохе была вся тяжесть мира, — юноша вернулся на сушу. Он снова дышал воздухом, и лёгкие его приняли воздух, но с тех пор каждую ночь ему снилась вода, и он просыпался в холодном поту, чувствуя, как что-то тянет его обратно — не русалка, нет, а сам океан, который не любит, когда обещания нарушают. Он прожил долгую жизнь, женился, вырастил детей, состарился. Но каждую ночь он приходил на берег и смотрел на скалу, где когда-то сидела она. И однажды — ему было уже много лет, и его внуки сами были взрослыми — он не вернулся с берега. Просто ушёл и не пришёл. Его искали, но не нашли. А рыбаки потом говорили, что видели его — там, под водой, он плыл рядом с ней, и его волосы развевались, как водоросли, и его глаза были открыты, и на лице была улыбка. Так что кто знает, — Томас пожал плечами, — может, он всё-таки вернулся. Может, она простила его. А может, океан просто забрал то, что принадлежало ему по праву.

Он допил чай, поставил кружку на землю и посмотрел на детей, которые сидели молча, переваривая услышанное, и на взрослых, которые тоже молчали, потому что эта легенда была из тех, после которых не хочется говорить, — и Марисса тихо высморкалась в платок, а Джексон, сидевший по другую сторону костра, смотрел на меня, и его лицо было задумчивым, и его глаза цвета старой бирюзы отражали пламя.

— Вот такая легенда про русалок, — подвёл итог Томас, — не весёлая, нет. Но правдивая. Потому что океан — он такой. Он даёт, но и забирает. Он любит, но по-своему. И если ты пообещал ему что-то — сдержи обещание. Потому что он помнит. Он всё помнит.

И я, слушая эти слова, вдруг подумала о Райане Бруксе — о парне, который серфит при лунном свете и никогда не приходит за наградами, который слышит что-то в шуме волн и ни с кем не разговаривает, — и о Слушающем, который до сих пор сидит на дне и ждёт преемников, — и легенда, рассказанная Томасом, сплелась с легендой, рассказанной Джексоном, и обе они сплелись с тем странным чувством, которое я испытала на волне, когда вода приняла меня, признала своей, — и мурашки побежали по спине, и я плотнее закуталась в плед, хотя мне не было холодно.

Дети, оправившись от первого потрясения, начали задавать вопросы — обычные детские вопросы, практичные и неожиданные: «А сколько у русалки зубов?», «А что она ест?», «А может она забрать меня, если я буду плохо себя вести?», — и старейшины отвечали им, и разговор становился легче, и смех возвращался к костру, и Марисса уже наливала всем какао, а Марко взял гитару и начал тихо перебирать струны, наигрывая что-то знакомое, что-то морское, что все слышали сто раз, но никогда не уставали слушать, — а я сидела, обхватив кружку ладонями, и смотрела на огонь, и думала о том, что где-то там, на отшибе, у Старой лагуны, живёт парень, который, возможно, знает ответы на вопросы, которые я ещё даже не задала, и завтра я, наверное, попробую его найти — не чтобы поговорить, нет, а просто чтобы посмотреть, как он серфит, просто чтобы увидеть этот танец на воде, о котором говорил Джексон, просто чтобы понять, не показалось ли мне, что в легендах, рассказанных у костра, больше правды, чем в учебниках по антропологии, которые лежали у меня на столе, забытые и ненужные.

— Эй, Скай, — голос Мариссы вырвал меня из размышлений, и я моргнула, возвращаясь к реальности, где костёр трещал, гитара звенела, а кружка с какао уже успела остыть, — ты чего такая задумчивая? Неужели легенда так впечатлила?

— Впечатлила, — призналась я, делая глоток остывшего какао, и оно было всё ещё сладким, всё ещё вкусным, но уже не обжигало горло, — знаешь, Марисса, мне кажется, я начинаю понимать кое-что.

— И что же? — она под села ближе, поправляя плед, и её плечо коснулось моего, тёплое, мягкое, пахнущее мукой и шоколадом.

— Что океан — он живой, — сказала я тихо, глядя на языки пламени, которые плясали в каменном круге, — и что он говорит с теми, кто умеет слушать. И что, возможно, я тоже хочу научиться. Не просто слышать ритм, как на волне, а понимать. Слова или не слова — неважно. Понимать.

Марисса ничего не ответила, только сжала моё плечо чуть крепче, и мы сидели так, бок о бок, пока костёр догорал, и звёзды кружились над головой, и океан дышал внизу, под обрывом, и его дыхание было ритмичным, как сердцебиение, как пульс, как музыка, которую я пока не умела разбирать, но обязательно научусь, потому что легенда не заканчивается на последнем слове рассказа — легенда только начинается там, где рассказчик замолкает и откладывает кружку в сторону, предоставляя тебе самой решать, верить ли в услышанное или забыть его, как забывают сон через пять минут после пробуждения. Но я не забыла. Я не забыла ни слова. И океан тоже ничего не забыл — он помнил всё, каждую слезинку, каждую клятву, каждое имя, каждую любовь, которая кончилась плохо, и каждую, которая не кончилась вовсе, а просто ушла под воду и осталась там, на дне, вместе с кораблями, вместе с костями, вместе с теми, кто когда-то стоял на берегу и смотрел на волны, ничего не требуя, а просто слушая, слушая, слушая.

Глава 3. Глубина, которая слышит в ответ

*Море — оно как старая бабка: всё
про тебя знает, только молчит. А
ты ей душу выкладываешь, и всё
равно легче.*

Райан Брукс

Райан

Звёздное небо заливало всё кругом — не просто светило, а именно заливало, как заливает вода песчаную отмель во время прилива, — и я лежал на спине, раскинув руки, чувствуя, как океан держит меня, не даёт утонуть, хотя я не просил его об этом, хотя я никогда ни о чём его не просил, но он всё равно держал, потому что так было всегда, с самого первого дня, с самой первой волны, которая лизнула мои пятки, когда мне было четыре года и мать ещё была жива, и мы приезжали на этот самый пляж, в эту самую бухту, только тогда я не знал, что бухта называется Тихой, не знал, что здесь находится Старая лагуна, не знал, что через шестнадцать лет я буду лежать в этой воде ночью, в одиночестве, и слушать голоса, которые никто, кроме меня, не слышит.

Вода была тёплой — дневное солнце нагрело верхний слой, и теперь это тепло медленно уходило в ночь, в воздух, в мою кожу, которая стала такой же солёной, как сам океан, потому что я проводил в воде больше времени, чем на суше, и это не было метафорой, это было фактом, зафиксированным где-то в расписании моих дней, которых я не вёл, но которые складывались сами собой: рассвет — вода, день — вода, закат — вода, ночь — вода, и только лекции по океанографии врывались в этот график незваными гостями, требуя моего присутствия в душных аудиториях, где пахло мелом и чьим-то дешёвым кофе, а океан был только на картинках в учебнике, плоский, немой, мёртвый.

— Смотрите! Смотрите! Это Райан идёт!

Голоса взметнулись, едва моя босая ступня коснулась кромки воды час назад, когда я спускался по тропинке от Старой лагуны, где мой дом — не дом, а так, хижина, доставшаяся от деда, — прятался в зарослях эвкалипта и дикого винограда, и я шёл, и доска, зажатая под мышкой, была холодной, а песок под ногами — ещё тёплым, хранившим дневное солнце, и голоса перекликались, перебивали друг друга, перекатывались, как галька в прибое, и я улыбался, хотя вокруг не было ни души, и именно поэтому я чувствовал себя сумасшедшим, но это было приятное сумасшествие, к которому я привык, как привыкают к шраму, как привыкают к боли в колене после старой травмы.

— Привет, Райан!! Ты сегодня прекрасно выступил! Почему ушёл с награждения?

Голос был высоким, почти детским — так звучала вода у самой кромки берега, где волны разбивались о песок и превращались в пену, в кружево, в шёпот, который был слышен только тем, кто знал, куда слушать, — и я, входя в воду, погружая ноги сначала по щиколотку, потом по колено, потом по пояс, отвечал, не открывая рта, одними губами, потому что если бы кто-то увидел меня сейчас — стоящего по пояс в ночном океане и разговаривающего с волнами, — меня бы увезли туда, где окна без ручек и где врачи в белых халатах задают вопросы, на которые нет правильных ответов.

— Здравствуйте, — прошептал я, и вода вокруг моих бёдер запузырилась, засмеялась, заискрилась в лунном свете, хотя никакой луны ещё не было, только звёзды, только Млечный Путь, растянувшийся через всё небо, как дорога, по которой никто не ходит, кроме, может быть, тех, кто когда-то слушал океан и теперь сам стал частью его голосов.

— Он ответил! Он всегда отвечает, вежливый, хороший, наш Райан, не то что те, другие, которые топчутся по берегу и ничего не слышат!

— А ты видел, как он обошёл волну у Пойнтбрейка? Как он проскользнул в трубу, а она даже не обрушилась, она ждала, пока он выйдет, она его пропустила, она его любит!

— Мы его любим! Мы все его любим! Он наш! Он единственный, кто слушает!

Я лёг на спину, и вода сомкнулась над ушами, отсекая воздух, отсекая мир, отсекая всё, кроме голосов, которые теперь звучали громче, отчётливее, и я различал их все — низкий гул глубины, где вода была старой, древней, помнившей времена, когда континенты ещё не разошлись, когда земля была сплошным океаном, а жизнь только зарождалась в горячих жерлах на дне; средний, напевный голос течений, которые текли от берегов Японии, огибали Гавайи, несли с собой тепло и соль и воспоминания о кораблях, проплывших над ними сто, двести, пятьсот лет назад; и высокие, звонкие, переливчатые голоса прибрежных волн — молодых, игривых, любопытных, тех, что интересовались людьми, лодками, досками для сёрфинга и всем, что падало в воду с поверхности.

И все они говорили одновременно, перебивая друг друга, наслаиваясь, создавая ту самую музыку, которую я слышал с детства, которую принимал за шум в ушах, за болезнь, за сумасшествие, пока не понял — не принял, не сдался, — что это не болезнь, а дар, или проклятие, или и то и другое сразу, в зависимости от того, в каком настроении просыпаешься утром и насколько громко вода решает говорить с тобой в этот день.

— Расскажи ему про китов! — предложил кто-то из голосов, кажется, тот, что принадлежал волне, разбившейся о мой локоть. — Он любит про китов, помнишь, как он плакал, когда услышал песню синего кита, ту, что мы принесли от берегов Аляски, как он лежал вот так же, на спине, и слёзы текли в воду, и мы их пили, и они были солёными, как мы сами?

— Не надо про китов, — ответил я шёпотом, и мои губы, чуть приоткрытые, впустили каплю воды, солёную, тёплую, живую, — сегодня не надо про китов, сегодня я хочу что-нибудь весёлое, что-нибудь про дельфинов, как они играют с медузами, перебрасывая их плавниками, как мячик, или про то, как акула-молот гонялась за своим отражением в зеркальном брюхе танкера.

Голоса засмеялись — и этот смех был не звуком, а вибрацией, проходящей сквозь воду, сквозь моё тело, сквозь позвоночник, поднимаясь к затылку и рассыпаясь там мурашками, — и я смеялся вместе с ними, беззвучно, одними уголками губ, и звёзды надо мной дрожали в такт этому смеху, хотя на самом деле они не дрожали, это вода колыхалась на моих глазах, создавая иллюзию, но мне нравилась эта иллюзия, потому что в ней всё было живым — и небо, и вода, и я сам, — и ничего не было мёртвого, немного, равнодушного.

— Слушай тогда, — сказал глубокий голос, тот, что шёл из жёлоба на дне, где вода была холодной даже в августе, — слушай историю про то, как два течения встретились у мыса и не могли решить, кому течь первым, и устроили такой водоворот, что затянули рыбацкую шхуну, и рыбаки потом рассказывали, что видели в центре воронки лицо — не злое, не доброе, а просто лицо, как у человека, который задумался и не заметил, что натворил.

И я слушал, закрыв глаза, чувствуя, как вода колеблется подо мной, поддерживая, баюкая, и история текла сквозь меня, и я видел эти два течения — тёплое, пришедшее с юга, и холодное, спустившееся с севера, — как они столкнулись, как закружились, как образовали воронку, и как старая шхуна, скрипевшая всеми досками, накренилась, зачерпнула бортом воду, и как рыбаки — их было трое, и одного звали Мануэль, а второго — Патрик, а третьего — просто Старик, — кричали, хватаясь за снасти, а потом замолчали, потому что в центре воронки действительно было лицо, и лицо это смотрело на них с тем выражением, какое бывает у человека, который случайно наступил на улитку и не знает, извиняться или пройти мимо.

— А потом? — спросил я, хотя знал ответ, потому что слышал эту историю уже раз десять, но каждый раз просил повторить, как ребёнок просит перечитать любимую книжку, — что было потом?

— Потом мы их отпустили, — ответил глубокий голос с ноткой обиды, — не топили же мы их, мы просто играли, а они испугались, всегда пугаются, когда видят то, чего не понимают. Шхуна выплыла, пробоина была небольшая, они добрались до берега, и Мануэль потом открыл бар и назвал его «Лицо в воде», и бар этот до сих пор стоит в Сан-Педро, и если ты туда поедешь, то увидишь на вывеске лицо — не моё, конечно, художник всё перевернул, но всё равно приятно, что помнят.

Я засмеялся — на этот раз вслух, и звук моего смеха, приглушённый водой, прозвучал странно, глухо, как будто я смеялся сквозь подушку, — и голоса вокруг меня засмеялись тоже, подхватывая, разнося, умножая, и на секунду мне показалось, что весь океан от берегов Калифорнии до Японии смеётся сейчас вместе со мной, и от этого стало легко, так легко, как не было днём, когда я стоял на доске и чувствовал на себе взгляды судей, зрителей, других серферов — чужие взгляды, тяжёлые, как мокрый песок, которые давили на плечи и мешали слушать воду, потому что вода говорила тише, когда вокруг было много людей, она стеснялась, она пряталась, она ждала, пока я останусь один, чтобы начать говорить в полный голос.

— Почему ты ушёл с награждения? — снова спросил высокий голос, тот самый, что первым приветствовал меня у кромки воды, и теперь он звучал настойчиво, требовательно, как ребёнок, который хочет знать правду, — ты занял третье место, Райан, мы видели, мы все видели, мы смотрели на тебя с волны, на которой шла та девушка, Скай, помнишь её? Она выиграла, она тоже слушает, но не так, как ты, она ещё не умеет, она только начинает, она дерзкая, красивая, у неё родинка под глазом, как звезда, ты видел?

— Видел, — ответил я, и перед моим внутренним взором на секунду вспыхнуло лицо — русые волосы, голубые глаза, ухмылка, которая говорила: «*Я лучше всех, и вы все это знаете*», — и что-то шевельнулось внутри, — я видел её, она подрезала Гаррета, она смелая. Или сумасшедшая. Или и то и другое.

— Она как ты! — радостно завопили прибрежные волны, наперебой, захлёбываясь. — Она тоже не боится! Она тоже дерзкая! Ты должен с ней поговорить, Райан, ты должен научить её слушать, она готова, она почти умеет, но не знает, что умеет, ей нужен кто-то, кто скажет: «Ты не сумасшедшая, океан действительно говорит, и он говорит с тобой»!

— Нет, — сказал я, и это «нет» прозвучало резче, чем я хотел, резче, чем обычно, когда я разговаривал с водой, — я не буду никого учить. Я не учитель. Я сам едва разобрался. Я до сих пор не знаю, дар это или болезнь, или проклятие, или всё вместе. И я не хочу, чтобы кто-то ещё просыпался по ночам от голосов в голове и думал, что сходит с ума.

Тишина. Голоса замолчали — не обиженно, а задумчиво, как замолкают люди, которые поняли, что коснулись больного места, и теперь не знают, как исправить неловкость. Я лежал, глядя в небо, и звёзды расплывались перед глазами, потому что вода снова колыхнулась, и в этот раз это была моя слеза — горячая, солёная, она скатилась по виску, смешалась с океаном, и голоса, почувствовав её, зашептались тихо, неразборчиво, как будто им было стыдно.

— Извините, — сказал я через минуту, и голос мой дрогнул, — я не хотел кричать. Просто это сложно. Просто вы не понимаете, каково это — быть человеком, который слышит то, чего не слышат другие. Вы — вода, для вас это нормально, вы всегда говорили, всегда пели, всегда рассказывали истории. А я — человек. Люди не слышат океан. Люди слышат только шум. И когда ты один такой — ты думаешь, что ты сумасшедший.

И лёжа на спине, глядя в бездонное звёздное небо, раскинувшееся надо мной, как перевёрнутый океан, я вдруг вспомнил, как всё началось. Не тот раз, когда я впервые понял, что слышу голоса, — это случилось раньше, когда мне было четыре или пять, и мать возила меня на пляж, а я сидел у кромки воды, и волны лизали мои ладони, а в их плеске мне чудились

слова, но я думал, что так у всех, что это нормально, что вода разговаривает со всеми, просто взрослые слишком заняты, чтобы слушать. А тот раз, когда я понял, что со мной что-то не так. Когда я осознал, что я — единственный.

Мне было десять. Мы переехали к деду, в хижину у Старой лагуны, потому что мать умерла, а отец никогда не был частью моей жизни, он был именем в свидетельстве о рождении и фотографией, которую мать хранила в книге, но никогда не доставала при мне, — и дед, старый Тамерлан Брукс, которого в деревне называли просто Старым Тами, взял меня к себе, его дом пах водорослями и трубочным табаком, и он учил меня серфить, хотя сам уже не выходил на воду — ноги не держали, — и он никогда не спрашивал, почему я сижу на берегу и разговариваю с волнами, потому что сам, наверное, тоже когда-то пробовал, но не сумел, или сумел, но перестал, или не перестал, но никому не говорил.

В тот день — я помню его так ясно, как будто он был вчера, хотя прошло десять лет, — в тот день я стоял по колено в воде, и было солнечно, и вода была прозрачной до самого дна, и я видел, как рыбы снуют между камнями, и как водоросли колышутся в такт течению, и как солнечные зайчики пляшут на песке, — и океан говорил со мной. Он рассказывал историю — сейчас я уже не помню, какую, может быть, про акулу, которая подружилась с тюленем и научила его охотиться, может быть, про затонувший корабль, который лежал на дне и мечтал снова поднять паруса, — и я слушал, улыбаясь, и отвечал шёпотом, и всё было как всегда, пока на пляж не пришла группа детей из летнего лагеря, что располагался в миле выше по побережью.

Их было человек десять — мальчишки и девчонки примерно моего возраста, — и они бегали по песку, визжали, брызгались, и с ними был вожатый, высокий парень с солнечными очками на голове, который кричал им: *«Не заплывайте далеко! Держитесь вместе!»* — и одна девчонка, рыжая, с веснушками, подбежала к воде и остановилась в нескольких шагах от меня, глядя на меня с любопытством, потому что я стоял в воде один и шептал что-то, и, наверное, со стороны это выглядело странно.

— Эй, — сказала она, и её голос был громким, резким, неприятным, как крик чайки, которая требует еду, — ты чего там шепчешь? Ты с кем разговариваешь?

Я обернулся — медленно, нехотя, потому что океан замолчал, как только она подошла, и это было похоже на то, как если бы кто-то захлопнул книгу, которую ты читал, на самом интересном месте, — и посмотрел на неё, не зная, что ответить.

— Я ни с кем, — сказал я, и это была первая ложь, которую я сказал о своём даре, но далеко не последняя, — я просто думаю вслух. Я так всегда делаю.

— Станный ты, — сказала она, сморщив нос, и побежала обратно к своим, и я слышал, как она крикнула кому-то: *«Там мальчик стоит, с водой разговаривает, как псих»*, — и они засмеялись, но их смех был не злым, просто бездумным, как смех детей, которые увидели что-то необычное и не знают, как на это реагировать, кроме как смехом, — но для меня этот смех прозвучал как приговор. Я вышел из воды, сел на песок и начал думать. Думать так, как не думал никогда раньше.

Если никто больше не слышит океан — значит, голоса в моей голове ненастоящие. Если голоса ненастоящие — значит, я болен. Если я болен — значит, меня могут забрать от деда и поместить в больницу, где я буду сидеть в белой комнате и глотать таблетки, и больше никогда не выйду на воду, и больше никогда не услышу этих голосов, которые, даже если они ненастоящие, были единственным, что у меня осталось после смерти матери.

Это был первый раз, когда я по-настоящему испугался. Я перестал отвечать океану. Я приходил на пляж, садился на песок, смотрел на волны, но молчал. Я стискивал зубы, когда вода начинала говорить, я зажмуривал глаза, когда голоса становились слишком настойчивыми, я даже пробовал затыкать уши пальцами, но это не помогало — голоса проходили не через уши,

они проходили через что-то другое, чему у меня не было названия, — и океан сначала удивился, потом обиделся, потом начал злиться.

— Почему ты молчишь? — спрашивали волны, разбиваясь о берег у моих ног. — Ты же слышишь нас! Мы знаем, что ты слышишь! Почему ты не отвечаешь? Мы думали, ты наш друг! Мы думали, ты один из нас! А ты такой же, как все, ты тоже нас бросишь, ты тоже забудешь, ты тоже перестанешь слушать?

А я сидел на песке, обхватив колени руками, и молчал, по моим щекам текли слёзы, и я думал: *«Я сумасшедший. Я точно сумасшедший. Вода не может говорить. Вода — это просто вода, H₂O, два атома водорода, один атом кислорода, она не умеет обижаться, не умеет задавать вопросы, не умеет помнить имена. Всё это — в моей голове. Всё это — болезнь. И мне нужно с ней бороться».*

Дед заметил, что со мной что-то не так. Он не спрашивал прямо — он никогда не спрашивал прямо, он был из тех людей, которые наблюдают и ждут, пока ты сам заговоришь, — но однажды вечером, когда мы сидели на крыльце и смотрели, как солнце садится в океан, он сказал, не поворачивая головы:

— Вода, она как женщина, Райан. Если ты перестанешь с ней разговаривать, она найдёт способ заставить тебя слушать. И способы у неё бывают разные. Иногда — шторм. Иногда — штиль, который хуже шторма. Иногда — сон, от которого нельзя проснуться. Ты бы поговорил с ней, сынок. Она скучает.

Я вздрогнул, потому что он сказал это так буднично, как говорят о погоде или о ценах на рыбу, и я вдруг понял — или мне показалось, что понял, или я хотел понять, — что дед знает. Может быть, он сам когда-то слышал голоса. Может быть, он сам когда-то сидел на этом крыльце и думал, что сходит с ума. Может быть, он нашёл способ договориться — или сдался, или забыл, или просто перерос, как перерастают детские страхи и детские мечты.

— Дедушка, — спросил я, и мой голос был тихим, как шёпот волн на отмели, — а ты ты когда-нибудь слышал? Ну, то, что говорит океан?

Он долго молчал. Достал трубку, набил её табаком, зажёл — и запах вишнёвого табака поплыл над крыльцом, смешиваясь с запахом соли и эвкалипта. Потом выпустил дым — медленно, задумчиво, — и сказал:

— Слышал. Давно. Когда был молодым. А потом перестал. Или он перестал со мной говорить — не знаю. Но я помню, Райан. Я помню, что это такое — когда вода знает твоё имя. И я помню, что это страшно, но также помню, что это прекрасно. И если ты слышишь его сейчас — не отгаливай. Не делай того, что сделал я. Потому что я потом всю жизнь жалел. Всю жизнь ходил на берег и слушал, но слышал только шум. А это не одно и то же. Совсем не одно и то же.

Он замолчал, солнце село, звёзды высыпали на небе, а океан дышал внизу, под обрывом, и в его дыхании я снова услышал слова — сначала тихие, неуверенные, как будто вода боялась, что я снова её отвергну, — а потом громче, смелее, радостнее: *«Он вернулся! Он слушает! Он наш! Мы знали, что он вернётся!»*

Я заплакал. Впервые за много месяцев — заплакал, не от страха, не от стыда, не от одиночества, а от облегчения, потому что если мой дед, этот старый, молчаливый человек, который ловил рыбу и вырезал фигурки из дерева и никогда не жаловался на жизнь, тоже слышал голоса — значит, я не сумасшедший или мы оба сумасшедшие, что тоже было неплохо, потому что сумасшествие, разделённое на двоих, — это уже не болезнь, а семейная традиция.

— Дедушка, — сказал я, вытирая слёзы рукавом, — а почему ты перестал слышать?

— Потому что испугался, — ответил он просто. — Я испугался, что люди узнают и будут смеяться. Я хотел быть нормальным, Райан. Иметь нормальную работу, нормальную жену, нормальных детей. А когда ты слышишь океан — ты не можешь быть нормальным. Ты всегда будешь немножко там, — он кивнул в сторону воды, — даже когда стоишь на суше. Даже когда

разговариваешь с людьми. Даже когда спишь. Часть тебя всегда будет слушать. И это трудно. Очень трудно.

— Но ты жалеешь, — сказал я, и это был не вопрос, а утверждение, потому что я слышал это в его голосе, видел в его глазах, чувствовал в том, как он смотрел на океан — с тоской, с нежностью, с сожалением.

— Каждый день, — ответил он. — Каждый божий день.

И после этого разговора я перестал бояться. Не сразу, нет — страх уходил постепенно, как вода отступает во время отлива, оставляя после себя лужицы, которые ещё долго напоминают о том, что здесь было море, — но в тот вечер на крыльце, под звёздами, с запахом вишнёвого табака и соли, я принял решение. Я решил, что не буду, как дед, отказываться от дара. Я буду слушать. Я буду отвечать. И с тех пор каждый вечер, каждую ночь, каждое утро — когда мог, когда позволяли лекции и дела, — я приходил к воде, ложился на спину, раскидывал руки и слушал. Океан рассказывал мне свои истории — грустные, весёлые, страшные, древние, а я плакал, смеялся, молчал, и вода принимала всё это, и голоса становились ближе, роднее, и теперь я уже не мог представить свою жизнь без них, без этого постоянного шума в голове, который на самом деле был не шумом, а музыкой, бесконечной симфонией, которую океан играл для меня одного — или для тех немногих, кто умел слушать.

Я открыл глаза. Звёзды всё так же висели надо мной, но теперь они сдвинулись — Большая Медведица переползла левее, Орион поднялся выше, — и я понял, что пролежал в воде несколько часов, и кожа на пальцах сморщилась, и губы стали солёными, и мышцы затекли от неподвижности. Голоса всё ещё говорили — теперь они рассказывали что-то про медуз, про их светящиеся зонтики, про то, как они плывут по течению, ничего не решая, полностью доверяясь воде, — и это было красиво, но я уже устал, и пора было возвращаться.

— Мне нужно идти, — сказал я тихо, и голоса затихли на полуслове, прислушиваясь. — Спасибо вам. Я приду завтра. Как всегда.

— Приходи! — зашумели прибрежные волны. — Приходи рано утром, будет туман, и мы расскажем тебе про то, как туман рождается, когда океан дышит и его дыхание встречается с холодным воздухом, это очень красивая история, ты не слышал её, она длинная, на целый час, приходи, мы будем ждать!

— И про девушку подумай! — добавил высокий голос, тот самый, что спрашивал про Скай. — Про ту, с родинкой-звездой. Она слушает, Райан. Она почти умеет. Ей нужен кто-то, кто скажет, что она не одна. Подумай об этом. Пожалуйста.

Я не ответил. Я встал — вода стекала с меня ручьями, и гидрокостюм, который я так и не снял, прилип к телу, — и пошёл к берегу, чувствуя, как песок под ногами становится твёрже, ближе к суше, и как голоса постепенно затихают, отступают, но не исчезают совсем, оставаясь где-то на грани слышимости, как музыка, которую продолжаешь слышать, даже когда она уже кончилась.

Хижина встретила меня темнотой и запахом старого дерева. Я снял гидрокостюм, бросил его на крыльце, вошёл внутрь, зажёл лампу, керосиновую, что досталась от деда, потому что электричество в Старой лагуне было, но я им почти не пользовался, предпочитая живой огонь, — и сел на кровать, глядя на стену, где висела старая фотография: дед, молодой, стоит на доске, и волна за его спиной встаёт стеной, и лицо у него счастливое, безмятежное, как у человека, который только что слышал голос океана и знает, что он не один.

Может быть, я так и останусь один — невидимкой.

Я лёг на кровать, не раздеваясь, и закрыл глаза. Голоса всё ещё звучали — теперь далёкие, приглушённые расстоянием и стенами, — и в их переплетении мне слышалось моё имя, и ещё что-то, и ещё слово, похожее на «Скай», но, может быть, это был просто ветер, просто скрип половиц, просто моё воображение, которое дорисовывало то, чего не было. А, может быть, и нет. Может быть, океан уже знал то, чего я ещё не знал. Может быть, он уже сплетал наши

судьбы — мою и той дерзкой девчонки с родинкой-звездой, — как сплетаются два течения, встретившиеся у мыса, чтобы устроить водоворот, из которого никто не выйдет прежним.

Я уснул под шёпот волн, и мне снился дед — молодой, стоящий на доске, — и он улыбался мне и говорил: *«Не бойся. Слушай. Она тебя найдёт. Или ты её. Или вы оба найдёте то, что искали, даже если пока не знаете, что именно ищете»*.

А океан всё говорил, говорил, говорил — и его голоса сплетались в колыбельную, которой он убаюкивал меня каждую ночь, с тех пор как мне было четыре года, с тех пор как мать привезла меня на этот берег и я впервые услышал то, чего не слышали другие.

Глава 4. Штиль перед штормом

Ты на воду не кричи — она громче тебя шумит. Лучшие сядь и слушай, она сама расскажет, какой ты дурак и какой счастливый Скай Рамирес

Скай

Столовая университета Санта-Круз гудела, как улей, в который бросили камень, — сотни голосов, сливавшихся в один неразборчивый шум, звон подносов, скрип стульев по кафельному полу, чей-то смех, чей-то возмущённый крик, и над всем этим — запах разогретой пиццы, дешёвого кофе и хлорки, которой только что протёрли стойку раздачи, — а я сидела одна за столом в углу, у окна, выходящего на парковку, где чайки дрались за обронённый кем-то сэндвич, и листала TikTok*, машинально поднося ко рту ложку йогурта, который был слишком сладким, слишком искусственным, но другого в этой столовой не водилось, а готовить себе ланч я забыла, потому что проспала, потому что вчера допоздна сидела у кострища, а потом ещё полночи ворочалась, думая о русалках, которые любят насмерть, и о парне по имени Райан Брукс, который выигрывает медали и не приходит за ними.

Экран телефона мелькал — танцы, чьи-то собаки, серф-трюки, снова танцы, — и я смотрела, но не видела, потому что мысли мои были далеко: там, где океан дышит в темноте, где старый Томас рассказывает легенды, от которых мурашки бегут по спине, где где-то на отшибе, у Старой лагуны, живёт парень, который, возможно, знает то, чего не знаю я, и от этого незнания внутри меня зудело любопытство, острое, как заноза, которую невозможно вытащить, потому что она слишком глубоко, потому что она засела под кожей и пустила корни, и теперь требовала действий, которых я пока не совершила.

— Сидишь тут как изгой, Рамирес.

Голос прозвучал над моей головой — не громкий, но поставленный, с той особенной ленивой интонацией, которую Гаррет Уайлд, видимо, отработывал перед зеркалом вместе со своими кубиками пресса, — и я, не отрывая взгляда от телефона, досчитала до трёх, прежде чем поднять глаза, потому что спешить ради Гаррета было не в моих правилах, потому что Гаррет привык, что на него реагируют мгновенно, а я не была «все» и моя реакция стоила дороже, чем быстрота.

— Твоя «слава» не помогает тебе, да? — продолжал он, и теперь его тень упала на мой поднос, на мой йогурт, на мои пальцы, сжимавшие телефон, — видимо, ты настолько скучная, что с тобой даже ботаны не хотят общаться.

Итан — его дружок, вечный спутник, тень тени, — хлопнул Гаррета по ладони с тем самодовольным смешком, который бывает у людей, не способных придумать собственную шутку, но очень довольных тем, что они оказались рядом с тем, кто придумал, — и я наконец подняла голову, отложила телефон экраном вниз, откинулась на спинку стула и оглядела их обоих с тем выражением, какое бывает у кошки, которая увидела двух особенно наглых голубей и прикидывает, стоят ли они усилий.

— Гаррет, — сказала я, растягивая его имя, как жвачку, пока она не порвётся, — у тебя какая-то новая стратегия? Решил, что если на соревнованиях у тебя не получилось меня обойти, то, может, получится в столовой? Серьёзно? Ты пришёл сюда, чтобы обсудить мою социальную жизнь? А я-то думала, что у тебя есть дела поважнее — например, тренировки. Или фотосессии. Или репетиции перед зеркалом, где ты отработываешь это вот, — я покрутила пальцем в воздухе, очерчивая его фигуру, его позу, его выражение лица, — снисходительное презрение, версия три-точка-ноль.

Итан перестал улыбаться. Его ладонь, всё ещё поднятая для приветственного хлопка, медленно опустилась, и он перевёл взгляд с Гаррета на меня, потом обратно, как зритель на теннисном матче, который не ожидал, что мяч полетит в его сторону.

Гаррет скрестил руки на груди — движение, которое должно было выглядеть уверенно, но выглядело как попытка защититься, — и его челюсть дёрнулась, и в карих глазах заплесало что-то тёмное, что я уже видела на пляже, когда он сказал мне «пошла ты», только теперь к этому примешивалось что-то ещё, какая-то решимость, какая-то идея, которую он принёс сюда вместе с подносом и которая пока не вылупилась из скорлупы.

— Я пришёл сюда, — начал он, и его голос стал ниже, собраннее, ушла из него та ленивая небрежность, с которой он бросил первую фразу, — чтобы сделать тебе предложение. Оди-ночный заезд. Ты и я. После пар, на закате. Твоя волна против моей. Без судей, без зрителей, без твоих штук с подрезкой, потому что там не будет никого, кого можно подрезать, кроме меня, а я, Рамирес, подготавлиюсь.

Он выплюнул последнее слово с тем особым нажимом, какой бывает у людей, которые всю ночь не спали, прокручивая в голове сценарий реванша, и теперь наконец дорвались до момента, когда можно этот сценарий озвучить, — и я, глядя на него, на его напряжённые плечи, на его пальцы, вцепившиеся в бицепсы скрещённых рук, вдруг поняла, что он не шутит, что это не очередная попытка уколоть меня в столовой при свидетелях, а что-то другое, что-то, что зрело в нём со вчерашнего дня, с того самого момента, когда я встала на пьедестал выше него и сказала: *«Не расстраивайся, красавчик»*.

— Реванш? — переспросила я, и мои брови поползли вверх, но не от удивления, а от того особого удовольствия, которое я всегда испытывала, когда кто-то воспринимал меня достаточно серьёзно, чтобы бросить вызов. — Ты хочешь реванш? На закате? Ты и я? А свечи будут? Или хотя бы музыкальное сопровождение, чтобы скрасить твоё второе поражение?

Итан фыркнул, но тут же осёкся, поймав взгляд Гаррета, и сделал шаг назад, как человек, который понял, что его присутствие здесь — не более чем реквизит, и что настоящий разговор идёт между двумя людьми, которые не нуждаются в зрителях, даже если вокруг толпа.

— Это не будет поражением, — сказал Гаррет, и его голос прозвучал почти спокойно, почти мирно, но под этим спокойствием я чувствовала натянутую струну, которая вибрировала на пределе, — потому что я знаю твою слабость, Рамирес. Я вчера весь вечер пересматривал запись. Тыходишь в волну слева, всегда слева, и если занять твою слепую зону, тебе некуда будет деваться. Ты сильная, да. Ты быстрая. Но ты предсказуемая. И я тебя сделаю.

Он замолчал, и в этой паузе я услышала, как за соседним столом кто-то рассмеялся — не над нами, над чем-то своим, — и как стукнула ложка о край стакана, и как где-то на раздаче повара крикнула: *«Куриный суп сегодня без лапши!»*, — и весь этот обыденный шум вдруг стал фоном, декорацией, театральным задником для сцены, которая разворачивалась между мной и Гарретом Уайлдом, и я почувствовала, как внутри меня поднимается азарт, тот самый, что я испытывала перед стартом, когда волна только начинала подниматься из глубины, когда всё ещё было возможно, когда адреналин ещё не превратился в действие, а уже поджаривал кровь изнутри.

— Ты пересматривал запись весь вечер, — повторила я медленно, смакуя каждое слово, как леденец, — ты изучал мою технику. Ты сидел и смотрел на меня на экране — час, два, три, — и делал заметки. Гаррет, — я подалась вперёд, облокотившись на стол, и мои глаза встретились с его глазами, и расстояние между нами сократилось до того самого минимума, на котором чувствуешь чужое дыхание, — это звучит не как подготовка к реваншу. Это звучит как одержимость. Ты уверен, что хочешь просто обойти меня на волне? Может, тебе нужна фотография с автографом? Или локон на память? Я могу устроить, для симпатичных соперников у меня скидка.

Его ноздри раздулись — едва заметно, но я заметила, потому что я замечала всё, потому что в такие моменты я превращалась в сгусток внимания, в прибор, который считывает микроскопические движения и переводит их на язык интуиции, — и его пальцы, всё ещё сжимавшие бицепсы, побелели от напряжения, но он не взорвался, не накричал, не сказал «пошла ты» во второй раз, а вместо этого — и это было неожиданно — улыбнулся. Криво, однобоко, но это была улыбка, и в ней сквозило что-то, чего я раньше не видела, — азарт, смешанный с неохотным уважением.

— Ты можешь шутить сколько угодно, — сказал он, и его голос стал почти мягким, почти дружеским, хотя «почти» в данном случае делало всю разницу, — но я знаю, что ты согласишься. Потому что ты не можешь отказаться от вызова. Потому что ты такая же, как я: тебе нужно доказывать. Каждый раз. Каждую минуту. И если ты сейчас скажешь «нет», ты потом весь вечер будешь сидеть и думать: а что, если бы я согласилась? А что, если бы я вышла на воду и сделала его снова? А что, если бы?

И вот тут он попал в точку. Не в бровь, не в глаз, а прямо в центр, в яблочко, в то самое место, где жил мой азарт, моя гордость, моё неумение отступить, — и я поняла, что он прав, чёрт возьми, он был абсолютно прав, и от этого понимания стало одновременно досадно и весело, как бывает, когда противник, которого ты считала предсказуемым, вдруг показывает зубы.

— Ладно, — сказала я, закрывая крышку йогурта, который всё равно уже кончился, и поднимаясь из-за стола, — закат. Пляж у Большой скалы. Только давай без твоей группы поддержки, — я кивнула на Итана, который стоял в стороне с таким видом, будто его только что отстранили от участия в главном событии сезона, — я не хочу, чтобы кто-то видел твои слёзы, когда ты снова проиграешь. Это интимный момент, Гаррет, такие вещи должны оставаться между нами.

Я повесила рюкзак на плечо, подхватила поднос и, проходя мимо него — так близко, что моё плечо едва не коснулось его локтя, — добавила вполголоса, так, чтобы слышал только он:

— Ихвати фонарик. Когда стемнеет, тебе будет трудно найти дорогу обратно, а я не хочу, чтобы ты заблудился. Всё-таки ты нужен миру. Или хотя бы Инстаграму*.

И пошла к раздаче, чувствуя спиной его взгляд — тяжёлый, жгучий, но теперь к нему примешивалось что-то ещё, что-то, чего я не могла разобрать, — и, сдавая поднос, я вдруг поняла, что улыбаюсь, улыбаюсь широко, открыто, и что эта улыбка не имеет отношения к сарказму, а имеет отношение к тому самому предвкушению, которое всегда появлялось, когда впереди маячила хорошая волна и достойный соперник, и что сегодняшний закат, возможно, будет интереснее, чем я ожидала.

Я прошла через столовую, уже не оглядываясь, хотя знала — чувствовала затылком, лопатками, тем самым местом между позвоночником и рюкзаком, — что Гаррет смотрит мне вслед, и его взгляд тяжёлый, липкий, как расплавленная карамель, от которой невозможно отлепиться, даже если очень хочется, а мне, вопреки здравому смыслу, не очень-то и хотелось, потому что внутри всё ещё бурлил азарт, вспененный его вызовом, его неожиданной улыбкой, его словами про «ты такая же, как я», и от этого бурления мысли скакали, как попкорн на раскалённой сковородке, не давая сосредоточиться ни на чём, кроме предстоящего заката, волны, реванша, который он так жаждал, что пришёл в столовую, ко мне, через весь кампус, через всю свою гордость, и это было почти трогательно, если бы не было так смешно.

Аудитория встретила меня гулом кондиционера, запахом мела, старой бумаги и чьего-то апельсинового сока, пролитого на соседнее сиденье ещё на прошлой неделе и так и не вытертого до конца, — и я взобралась на самый последний ряд, туда, где стены сходились с потолком под тупым углом, где можно было сидеть, вытянув ноги, и никто не толкал тебя в спину, и профессор, бубнивший что-то про структурализм Леви-Стросса, казался далёким, как радиопередача, которую слушаешь вполуха, пока делаешь что-то другое, — и я плюхнулась на стул,

закинула ноги на соседнее сиденье, достала телефон и снова открыла TikTok*, потому что думать о Гаррете дольше необходимого было вредно для нервной системы, а думать о Райане Бруксе было ещё вреднее, потому что Райан Брукс был загадкой без ответа, а я не любила загадки, на которые не могла найти разгадку в течение первых пяти минут.

«Катись в ад, Гаррет, — подумала я, листая ленту, где какая-то девчонка показывала свой завтрак в виде смузи такого ядовито-зелёного цвета, будто она смешала в блендере газон, — ты будешь рыдать как маленькая сучка, когда я снова обставлю тебя на закате, и на этот раз без судей, без зрителей, без всех этих свидетелей, перед которыми ты мог бы сохранить лицо, и тогда ты наконец поймёшь, что дело не в подрезке, не в слепой зоне, не в том, что я занимаю твой пик, а в том, что я просто лучше, быстрее, злее, и волна знает это, и волна выбирает меня, а не тебя, потому что ты слышишь только себя, а я слышу её, и она отвечает мне, и она будет отвечать мне каждый раз, пока ты не научишься слушать, но ты не научишься, потому что ты Гаррет Уайлд, и твоя карьера на автопилоте не предусматривает остановок для того, чтобы послушать воду».

Экран мелькал — чьи-то танцы, собака, катающаяся на скейтборде, парень, который делал сальто с пирса, и снова танцы, — и я смотрела, но не видела, потому что мысленно уже стояла на доске, у Большой скалы, где океан встречается с берегом под тем самым углом, который создаёт идеальную трубу, и где Гаррет будет ждать меня с фонариком и со своей теорией про слепую зону, и где я докажу ему и себе, хотя себе мне доказывать было не нужно, что никакая теория не работает против того, кто чувствует воду, кто слышит её ритм, кто сливается с волной, как будто доска — это не снаряд, а часть тела, выросшая из пяток, уходящая корнями в самое сердце океана.

Профессор что-то говорил про бинарные оппозиции, про дихотомию природы и культуры, и его голос, монотонный, убаюкивающий, плыл над аудиторией, как облако пыли над просёлочной дорогой, а я записывала что-то в тетрадь, машинально, не глядя, и строчки выходили кривыми, и буквы наползали друг на друга, и на полях я нарисовала волну, которую поймала вчера, и рядом с волной человечка на доске, и рядом с человечком звёздочку, потому что родинка под глазом была моим талисманом.

Пара тянулась долго — так долго, что стрелки часов на стене, казалось, приклеились к циферблату суперклеем, и когда наконец прозвенел звонок, резкий, пронзительный, как крик чайки над ухом, я первой вылетела из аудитории, раньше, чем профессор успел договорить своё *«не забудьте про эссе»*, и мои кеды простучали по линолеуму коридора, проскакали по лестнице, прошелестели по газону перед кампусом, срезая путь к парковке, где меня ждал старенький пикап Джексона, который он дал мне на сегодня, потому что мой велосипед в очередной раз сломался, а ходить пешком до Ковилла было далеко, а до Большой скалы — ещё дальше.

Пикап завёлся с третьего раза — сначала чихнул, потом кашлянул, потом зарычал, как старый пёс, которого разбудили, и я вырулила с парковки, поднимая за собой облако пыли, которое осело на чьей-то припаркованной «Тесле».

Дорога петляла вдоль побережья — сначала мимо жилых кварталов, где дома стояли, прижавшись друг к другу, как пингвины на льдине, потом мимо эвкалиптовой рощи, где воздух становился гуще и слаще, потом вдоль обрыва, где океан открывался во всю свою ширь, бескрайний, тёмно-синий, с белыми барашками волн, которые с высоты казались крошечными, невесомыми, как хлопья пены на поверхности латте, и я опустила стекло, чтобы ветер ворвался в кабину, растрепал волосы, ударил в лицо, принёс с собой запах соли, водорослей и той особенной свободы, которая бывает только у океана, когда стоишь на берегу и понимаешь, что перед тобой — вечность.

У Большой скалы уже никого не было — пляж опустел, туристы разъехались, местные сидели по домам, и только чайки всё ещё кружили над водой, выписывая в небе те же траек-

тории, что я выписывала на волне, и я припарковала пикап на обочине, скинула кеды, стянула джинсы и футболку, под которыми уже был гидрокостюм, натянутый ещё утром, в предвкушении этого момента, и вытащила доску из кузова, чувствуя, как её знакомая тяжесть ложится на плечо, как её гладкая поверхность холодит щёку, как лиш обвивается вокруг щиколотки, словно живой, словно он тоже ждал, тоже предвкушал, тоже знал, что сегодня будет не просто тренировка.

Солнце висело низко над горизонтом — оранжевый шар, который уже начал сплющиваться, касаясь воды, его лучи проложили через океан золотую дорожку, которая вела от берега прямо к тому месту, где волны набирали силу, и я пошла по этой дорожке босиком, чувствуя, как песок — сначала сухой, тёплый, сыпучий, — сменяется мокрым, твёрдым, прохладным, и как вода лижет мои пятки, и как в этом лизании мне снова чудится ритм, тот самый, который я услышала в детстве и который теперь преследовал меня, как мелодия, застрявшая в голове, и я вошла в воду по колено, по пояс, по грудь, а потом бросилась на доску и загребала, загребала, пока берег не отдалился, пока фигура Гаррета, которую я заметила краем глаза — он стоял у скалы, уже в гидрокостюме, а его доска торчала из песка, как памятник его прошлым победам, — не стала маленькой, незначительной, как всё, что осталось на суше, потому что здесь, на воде, имели значение только волны, только ветер, только океан, который говорил со мной на языке, который я пока не понимала, но который любила больше, чем любой человеческий язык.

Я лежала на доске, покачиваясь на воде, и солнце, уже наполовину утонувшее в океане, красило мои руки в оранжевый, в розовый, в тот неуловимый оттенок, который бывает только на закате и только у этого берега, где небо встречается с водой под тем углом, что создаёт иллюзию бесконечности, дыхание моё выровнялось, мышцы, разогретые греблей, приятно гудели, а в голове было пусто, ясно, чисто, как бывает только перед стартом, когда всё лишнее отступает, а остаётся только волна, только доска, только я и океан, который дышал подо мной, живой, огромный, терпеливый, и где-то на грани слышимости, на той частоте, которую не улавливают уши, но улавливает что-то другое, мне чудился ритм, не тот, что у прибоя, а другой, глубинный, древний, как пульс земли, и в этом ритме мне слышалось ожидание, словно океан тоже знал, что сейчас что-то произойдёт, и замер в предвкушении.

Гаррета я увидела не сразу — он выгребал справа, от скалы, его силуэт, подсвеченный закатным солнцем, казался вырезанным из чёрной бумаги, чётким, резким, лишённым полутонов, он грёб мощно, ритмично, как машина, как человек, который провёл в воде тысячи часов и теперь каждое движение его тела было отточено до автоматизма, до той грани, где спорт переходит в искусство, а искусство — в одержимость, — и когда он приблизился настолько, что я могла разглядеть его лицо, я заметила, что он не улыбается, не хмурится, а смотрит на меня с особым выражением, какое бывает у боксёров перед выходом на ринг, — концентрация, смешанная с голодом, и голод этот был не на победу, а на бой, на сам процесс, на то, чтобы доказать — не мне, а себе, — что он всё ещё лучший.

— Рамирес, — сказал он вместо приветствия, и его голос, приглушённый расстоянием и шумом воды, прозвучал глухо, но отчётливо, как удар колокола, — я думал, ты не придёшь. Думал, ты струсил.

— Гаррет, — ответила я, приподнимаясь на локтях и шурясь от солнца, которое било ему в спину, создавая вокруг его головы подобие нимба, хотя нимб был последней вещью, которую он заслуживал, — ты думал? Серьёзно? Это что-то новенькое. Обычно ты полагаешься на рефлекс, а тут — целый мыслительный процесс. Я впечатлена.

Он хмыкнул — сухо, коротко, но уголок его губ дёрнулся, и я поняла, что он оценил шутку, хотя никогда в жизни не признает этого вслух, потому что признавать мои шутки смешными было для него равносильно признанию поражения, а он ещё не проиграл, ещё нет, ещё всё было возможно.

— Условия простые, — сказал он, останавливая доску в нескольких метрах от меня, так что теперь мы лежали параллельно, как два бойца перед схваткой, разделённые только водой и гордостью, — мы ждём сет. Не ту волну, что ты подрезала вчера, а настоящий сет, который поднимет стены. Кто первый войдёт в трубу и выйдет из неё, тот и победил. Без фокусов, без подрезок. Чистый сёрфинг. Ты и я.

— Чистый сёрфинг, — повторила я, пробуя эти слова на вкус и находя их забавными в устах человека, который вчера кричал мне «пошла ты» на глазах у всего пляжа, — а судьи? А зрители? А твоя группа поддержки, которая хлопает тебе по ладони каждый раз, когда ты отпускаешь остроумный комментарий? Без них ты справишься? Не заскучаешь?

— Я справлюсь, — ответил он, и в его голосе не было ни сарказма, ни злости, ни того показного высокомерия, с которым он подошёл ко мне в столовой, — была только усталая решимость, та самая, которая появляется, когда человек слишком долго носил маску и наконец решил её снять, хотя бы на час, хотя бы на закате, хотя бы перед тем, кого он считает врагом.

— Ладно, Уайлд, — сказала я, отводя взгляд от горизонта и возвращая его к его лицу, которое теперь, без обычной маски, выглядело иначе: старше, серьёзнее, уязвимее, хотя слово «уязвимый» вряд ли входило в его личный словарь, — давай сделаем это. Но если я выиграю — а я выиграю, — ты купишь мне ужин. Не в студенческой столовой, а где-нибудь, где подают нормальную еду, с приборами, с салфетками, с официантами, которые не спрашивают «тебе как обычно?». И не будешь ворчать, не будешь скрежетать зубами, не будешь говорить «пошла ты». Просто сядешь, примешь поражение и заплатишь по счёту. Идёт?

Гаррет моргнул — его длинные девчоночьи ресницы, совершенно не подходящие к его квадратной челюсти, слиплись от солёной воды, и в закатном свете они отливали золотом, как будто кто-то нарисовал их кисточкой, а потом он расхохотался.

— Ты невыносима, Рамирес, — сказал он, отсмеявшись, и его глаза, карие, глубокие, всё ещё блестели от смеха, — ты самая невыносимая девушка, которую я встречал. Конечно, идёт. Но если выиграю я — а я выиграю, — ты при всех, на следующем соревновании, подойдёшь к микрофону и скажешь: «Гаррет Уайлд — лучший серфер, которого я знаю, и я недостойна завязывать ему лиш». При всех. В микрофон. С улыбкой.

— Ого, — я присвистнула, качая головой, — у тебя фантазия побогаче, чем я думала. Ты это сам придумал или Итан помог? Ладно, — я протянула руку, балансируя на доске, и он, помедлив долю секунды, пожал её, и его ладонь была холодной от воды, но крепкой, цепкой, как у человека, который привык держаться за доску, за жизнь, за свою гордость, — договорились. А теперь гребь к своему пику, а я — к своему. Сет будет через пару минут, я чувствую.

— Чувствуешь? — он приподнял бровь, и на его лице мелькнуло любопытство, почти научное, как у человека, который столкнулся с феноменом, не вписывающимся в его картину мира. — Ты чувствуешь сет? Как?

— Просто чувствую, — я пожала плечами, отталкиваясь от воды и направляя доску влево, туда, где, как я знала, поднимется первая волна, — может, у меня дар, может, интуиция, может, я просто смотрю на горизонт и вижу то, что видит каждый, у кого есть глаза. Но ты лучше гребь, Гаррет. Не хочу, чтобы ты опоздал на собственное поражение.

Он ничего не ответил — только мотнул головой, словно отгоняя назойливую мысль, и тоже начал грести, вправо, к тому месту, которое считал своим пиком, и теперь нас разделяло расстояние, вода и ожидание, солнце село окончательно, оставив после себя полосу малинового, сиреневого, густо-фиолетового, и на этом фоне наши силуэты, должно быть, казались крошечными, хрупкими, как два муравья, рискнувших переплыть лужу, но я не чувствовала себя хрупкой, я чувствовала себя сильной, цельной, готовой, и океан подо мной гудел, натягиваясь, как тетива, готовый выпустить стрелу.

Сет пришёл, как я и предсказывала: через несколько минут, которые растянулись в вечность, потому что время в ожидании волны течёт иначе, чем на суше, оно становится гуще,

медленнее, тягучее, как смола, и каждое мгновение наполнено до краёв тем, что ещё не случилось, но уже висит в воздухе, и первая волна поднялась из глубины, чёрная на фоне темнеющего неба, огромная, как живое существо, и я, не раздумывая, развернула доску к берегу и начала грести, чувствуя, как вода поднимает меня, как скорость нарастает, как доска перестаёт быть деревом и стекловолокном, а становится продолжением моего тела, моей воли, моего желания слиться с океаном в одно целое, и где-то справа, на периферии зрения, я видела Гаррета, который тоже грёб, тоже вставал на доску, тоже входил в волну, и наши траектории скрещивались, как два лезвия, и волна принимала нас обоих, и в этот момент не было ни меня, ни его, ни победы, ни поражения — была только волна и двое, кто хотел её услышать.

Волна поднимала меня — медленно, величественно, как просыпающийся левиафан, который не спешит, потому что знает: всё уже принадлежит ему, и я на его спине, и Гаррет где-то справа, доска подо мной вибрирует, поёт, живёт своей жизнью, а я лишь направляю её, или она направляет меня, мы никогда не могли разобраться, кто кого ведёт, — и в ушах свистел ветер, брызги летели в лицо, солнце, уже ушедшее за горизонт, оставило после себя малиновую полосу, которая окрашивала воду в цвет вина, разбавленного кровью, и я встала на доску во весь рост, чувствуя, как мышцы ног напрягаются, как позвоночник выпрямляется, становясь осью, вокруг которой вращается весь мир, и мир этот состоял из воды, скорости и ритма, который звучал во мне громче, чем когда-либо — не просто ритм, а почти слова, почти музыка, почти голос, который говорил: *«Давай, Скай, давай, ты можешь, ты моя, ты одна из немногих, давай же»*.

Гаррет вошёл в волну справа — я видела его краем глаза, периферийным зрением, которое обострилось до предела, — и он был хорош, чёрт возьми, он был действительно хорош, его техника была безупречной, его тело работало как механизм, и на секунду я поняла, почему он звезда, почему его лицо на плакатах, почему спонсоры выстраиваются в очередь, но в его движениях не было того, что было в моих: он не слышал волну, он её вычислял, он её просчитывал, он относился к ней как к задаче, которую нужно решить, а я относилась к ней как к собеседнику, который ждал, пока я заговорю, и волна это знала, волна это чувствовала, волна выбирала, и она выбрала **меня**.

Труба начала закрываться — сначала медленно, как занавес в театре, который даёт зрителям время на последние аплодисменты, — и я скользнула внутрь, в самое сердце волны, туда, где вода становилась изумрудно-зелёной, почти прозрачной, подсвеченной последними лучами умирающего солнца, и время остановилось — не замедлилось, а именно остановилось, как будто кто-то нажал на паузу, и в этой паузе я услышала тишину, но не пустую тишину, а полную, насыщенную, как тишина перед первым словом, которое вот-вот прозвучит, я провела ладонью по стене воды, а вода была холодной и живой, и она отозвалась на моё прикосновение дрожью, пробежавшей от моих пальцев до самого дна, и я поняла — не мозгом, а чем-то другим, что сидело глубже, — что я выиграла.

Выход из трубы был чистым — доска выскользнула из-под занавеса пены за долю секунды до того, как волна обрушилась, и я, всё ещё стоя на ногах, всё ещё балансируя на грани падения и полёта, увидела, как Гаррет вылетает из той же волны, но позже, на долю мгновения позже, и это мгновение было пропастью, которую не перепрыгнуть, — он вылетел не так чисто, его доска вильнула, он потерял долю секунды, и эта доля секунды стоила ему победы, и он знал это, я видела по его лицу, по его плечам, по тому, как он соскочил с доски в воду, не дожидаясь, пока волна донесёт его до берега, — он знал, что проиграл, а я знала, что выиграла и океан ликовал вместе со мной, подбрасывая мою доску на пенных губах прибоя.

Я выгребла к берегу на последней волне сета — маленькой, ласковой, как собака, которая приносит тапки хозяину, — и, когда мои ноги коснулись песка, когда я отстегнула лиш и воткнула доску в песок, когда стянула шапочку и встряхнула мокрыми волосами, рассыпая вокруг себя солёные капли, я почувствовала, как внутри меня разливается тепло — не

жар адреналина, не горячка победы, а что-то спокойное, глубокое, похожее на удовлетворение, которое приходит после хорошо сделанной работы, после честного боя, после того, как ты доказала — не кому-то, а себе, — что ты лучшая не потому, что подрезаешь соперников, а потому что слышишь то, чего не слышат они.

Берег был пуст — только чайки, только ветер, только песок, который уже начал остывать после дневного жара, — я направилась было к пикапу, перебросив доску под мышку и уже предвкушая, как расскажу Джексону о победе, как Марисса снова усадит меня за стойку и нальёт какао с маршмэллоу, как старый Финн хмыкнет в усы и скажет что-нибудь вроде «*а я говорил*», но не успела я сделать и десяти шагов, как за спиной раздался плеск, тяжёлое дыхание и голос, который я уже научилась узнавать из тысячи:

— Рамирес!

Я остановилась — не сразу, а через три шага, ровно настолько, чтобы он понял: я не бросаюсь к нему по первому зову, — и обернулась, увидев, как он выходит из воды, волоча доску за собой на лише, а его лицо, мокрое, загорелое, подсвеченное последними отблесками заката, было лицом человека, который только что проиграл и ещё не решил, как к этому относиться. Его челюсть была сжата, но не так, как вчера на пьедестале — вчера она была сжата от ярости, а сегодня от второго проигрыша мне.

— Ты выиграла, — сказал он, и это не был вопрос, и это не было обвинение, это была констатация факта, сухая, как запись в судебном протоколе, — ты выиграла, чёрт возьми. Я думал, что знаю эту волну, я изучил её вдоль и поперёк, я знаю каждый её угол, каждый перепад, каждый камень на дне, но ты ты вошла в неё так, как я никогда не видел. Ты не серфила, ты танцевала. Или пела. Не знаю, как объяснить. Я думал, что я лучший, но ты просто лучше. На данный момент.

Последние два слова он выдавил с очевидным трудом, как будто они царапали ему горло, и я видела, чего ему стоило это признание, и что-то вроде уважения шевельнулось, потянулось, как кошка после сна. Я кивнула, принимая его капитуляцию.

— Ты тоже был хорош, — сказала я, и это была правда, а не вежливость, — ты правда был хорош, Гаррет. Если бы ты не думал, ты бы вошёл в трубу одновременно со мной. Но ты думал. Ты просчитывал. А волна — она не про счёт. Она про то, чтобы отпустить и довериться. Ты не умеешь отпускать, поэтому ты проиграл.

Он стоял, перебирая лиш в пальцах, вода стекала с его волос на лоб, на скулы, на плечи, и его грудная клетка всё ещё вздымалась от напряжения, мышцы живота сокращались под гидрокостюмом, и в закатном свете он был похож на статую — на какого-нибудь греческого бога, которого сбросили с Олимпа и заставили ходить по земле, — и я вдруг вспомнила легенду Томаса, ту, про русалку и юношу, и подумала, что Гаррет, наверное, тоже из тех, кто не умеет дышать под водой, кто боится глубины, кто цепляется за воздух, даже когда вода предлагает ему целый мир.

— Ладно, — сказал он, встряхивая головой, капли разлетелись в стороны, как дробь, — уговор есть уговор. Я покупаю тебе ужин. Где и когда?

Я сделала шаг к нему — потом ещё один, и ещё, сокращая расстояние между нами до того самого минимума, на котором чувствуешь чужое дыхание и тепло чужой кожи, и остановилась в полуметре от него, мои голубые глаза встретились с его карими, и в его глазах я увидела то же самое, что видела вчера, — смесь ненависти и уважения.

— Этого мало, — сказала я тихо, и мой голос прозвучал ниже, чем обычно, с хрипотцой, которая появилась от солёной воды и долгого молчания на волне, — ты так триумфально проиграл, Гаррет, что одного ужина недостаточно. Я требую ещё одно условие.

Он нахмурился — брови сдвинулись, образовав вертикальную складку между ними, которая, наверное, появлялась у него всякий раз, когда жизнь подкидывала сюрприз, не вписывавшийся в его расписание, — и его пальцы, всё ещё перебиравшие лиш, замерли.

— Какое? — спросил он осторожно, в его голосе проскользнула нотка подозрения, смешанная с любопытством, как у человека, который знает, что сейчас произойдёт что-то, к чему он не готов.

Я улыбнулась и сказала, растягивая слова, как ириску, пока она не порвётся:

— Поцелуй.

Тишина. Такая тишина, что я услышала, как чайка, сидевшая на скале, переступила с лапы на лапу, и как песок осыпался с моей пятки, когда я перенесла вес на другую ногу, и как где-то далеко, у горизонта, волна разбилась о невидимый риф. Гаррет смотрел на меня — сначала непонимающе, потом изумлённо, потом с тем выражением, какое бывает у человека, который пытается понять, шутка это или нет, и если не шутка, то как на это реагировать, — а потом он фыркнул. Не рассмеялся, не расхохотался, а именно фыркнул — коротко, резко, как кот, которому под нос сунули лимон.

— Поцелуй? — переспросил он, и его голос поднялся на полтона, стал выше, почти мальчишеским. — Ты серьёзно, Рамирес? Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал?

— Абсолютно, — ответила я, не отводя взгляда и не переставая улыбаться, — чего ты фыркаешь? Ты же целуешься с каждой пятой девчонкой, Гаррет. Я видела, как ты флиртуешь на вечеринках, как ты раздаёшь эти свои улыбки направо и налево, как ты обнимаешь кого-то за талию, наклоняешься и впиваешься в губы. В общем, я буду шестой. Или двадцать шестой, я не считала. Какая разница? Один поцелуй. Сюда, — я постучала пальцем по своим губам, солёным от океана, обветренным ветром, растянутым в усмешке, — и мы в расчёте. Ужин можешь оставить себе.

Он молчал. Долго молчал — так долго, что солнце окончательно село, и небо из малинового стало густо-фиолетовым, а потом почти чёрным, и звёзды начали проступать на нём, сначала робко, потом всё увереннее, и где-то в кустах за скалой застрекотали цикады, а океан вздохнул — долгим, глубоким вздохом, который прошёл под песком, под нашими ногами, под нашими сердцами, а потом Гаррет шагнул ко мне.

Он двигался медленно — не так, как на волне, где каждое движение было точным и выверенным, а иначе, неуверенно, как человек, который входит в воду, не зная, холодная она или тёплая, — и его рука, что сжимала лиш, разжалась, и доска упала на песок с глухим стуком, его ладонь поднялась к моему лицу, и я почувствовала её тепло, её шершавость, её лёгкую дрожь — он дрожал, Гаррет Уайлд, звезда Пойнтбрейка, дрожал, как мальчишка, и это было так неожиданно, так не вязалось с его обычной самоуверенностью, что у меня перехватило дыхание — не от страсти, не от волнения, а от внезапного осознания, что, возможно, я недооценивала его, возможно, он не просто машина для побед, возможно, внутри этой груди, покрытой кубиками пресса, билось что-то живое.

Его пальцы коснулись моей щеки — сначала кончики, едва-едва, как будто он боялся обжечься, — потом вся ладонь легла на скулу, и большой палец провёл по родинке-звезде под левым глазом, и от этого прикосновения по коже побежали мурашки.

— У тебя родинка в виде звезды, — сказал он тихо, его голос был не тем, что на пляже, не тем, что в столовой, а другим, мягким, низким, интимным, как разговор на двоих в темноте, — я заметил её ещё вчера. Она тебе идёт. Хотя тебе всё идёт. Особенно когда ты стоишь на доске и делаешь вид, что ты бессмертная.

— Я не делаю вид, — ответила я шёпотом, и мой голос тоже изменился, стал ниже, глубже, и слова выходили медленно, как будто пробирались через толщу воды, — я действительно бессмертная. Но ты можешь проверить.

Он наклонился. Медленно — так медленно, что я успела заметить, как его ресницы, длинные, девчоночьи, отбрасывают тени на скулы, как его губы чуть приоткрыты, как его дыхание — горячее, сбивчивое, пахнущее солью и мятной жвачкой, которую он, наверное, жевал перед заездом, — касается моей кожи за секунду до того, как его губы встретились с моими.

И мир остановился. Не так, как на волне, когда время замирает, давая тебе проскользнуть сквозь трубу, а иначе, глубже, полнее, как будто всё, что было до этого момента, было лишь прелюдией, а теперь началась настоящая музыка, и музыка эта звучала не в ушах, а в кончиках пальцев, в висках, в животе, в том самом месте под ложечкой, которое обычно молчит, а сейчас заговорило, и говорило оно на языке, которого я не знала, но понимала.

Его губы были тёплыми, солёными — океан оставил на них свою метку, — и они двигались осторожно, почти робко, как будто он всё ещё не верил, что я это всерьёз, как будто ждал, что я сейчас оттолкну его, рассмеюсь, скажу «попался», но я не отталкивала, я стояла, закрыв глаза, чувствуя, как его пальцы скользят по моей скуле вниз, к шее, к затылку, запутываясь в мокрых волосах, и как его другая рука ложится на мою талию — не нагло, не собственнически, а так, словно он просил разрешения, и это разрешение я ему давала, потому что, чёрт возьми, он был хорош, он был действительно хорош, и дело было не в том, что он звезда, не в том, что у него пресс в двенадцать кубиков, а в том, что сейчас, в этот момент, он был настоящим, он не играл, он не позировал, он не думал, как выглядит со стороны, он просто целовал меня, а я целовала его в ответ, и наши губы двигались в одном ритме, и этот ритм был ритмом океана, ритмом прибоя, ритмом, который я слышала с детства и который теперь обрёл форму, вкус, тепло.

Его зубы столкнулись с моими — легко, случайно, — и я почувствовала, как он улыбнулся в поцелуе, и эта улыбка была не саркастической, не победной, а какой-то растерянной, мальчишеской, и от неё у меня внутри что-то перевернулось, и я вдруг поняла, что целую Гаррета Уайлда на пустом пляже под звёздами, что это — самое правильное, что я делала за последнее время, и что завтра я, возможно, буду жалеть об этом, а, возможно, и нет, но сейчас, в эту секунду, я ни о чём не жалела.

Мои пальцы, всё это время сжимавшие доску, разжались, доска упала на песок рядом с его доской, и теперь обе они лежали, забытые, как два свидетеля, которые деликатно отвернулись, мои руки поднялись, легли на его плечи, на его влажный гидрокостюм, на его напряжённые мышцы, которые под моими ладонями были твёрдыми, как дерево, но в то же время податливыми, живыми, горячими, и я провела ногтями по его лопаткам, оставляя на неопределённой ткани полумесяцы, которых он не увидит, но которые, возможно, почувствует завтра, когда снимет гидрокостюм и заметит на спине следы, оставленные мной.

Он углубил поцелуй — теперь его губы стали настойчивее, смелее, и его язык коснулся моего языка, вкус мяты смешался с солью, мои губы раскрылись шире, пропуская его, и моё дыхание сбилось, застряло где-то в горле, не в силах вырваться наружу, и теперь мы дышали в унисон, как двое, кто слишком долго был под водой и наконец вынырнул на поверхность, и в этом дыхании было всё: его злость, моя дерзость, его поражение, моя победа, его «пошла ты» и моё «красавчик», и тот танец на волне, который мы станцевали вместе, и которого никто, кроме нас и океана, не видел.

Он оторвался первым — не резко, не испуганно, а медленно, неохотно, как человек, который просыпается от чудесного сна и хочет продлить его ещё хотя бы на секунду, и его губы, припухшие, влажные, всё ещё хранили тепло моего рта, а его глаза, карие, глубокие, смотрели на меня с изумлением. Чистое, незамутнённое изумление, как будто он ожидал чего угодно, но не этого, как будто он приготовился к бою, а получил нечто совершенно иное, и теперь не знал, что с этим делать.

— Ну вот, — сказала я, мой голос прозвучал хрипло, но твёрдо, и улыбка всё ещё играла на моих губах. — Теперь ты моя маленькая сучка, Гаррет.

Он моргнул. Раз. Другой. Его ресницы слиплись от соли, и в звёздном свете они казались серебряными, как будто кто-то посыпал их лунной пылью, а потом он засмеялся: тихо, низко, с хрипотцой.

— Ты — начал он и осёкся, покачал головой, провёл ладонью по лицу, стирая с губ остатки поцелуя, но не стирая улыбки, — ты невозможна, Рамирес. Что дальше? Ошейник? Поводок? Команда «место»?

— Дальше — посмотрим, — ответила я, наклоняясь и поднимая свою доску с песка, — всё зависит от твоего поведения. И хватит повторять, что я невыносима. А пока — ужин остаётся в силе. Я хочу стейк. И салат. И десерт. И не в студенческой столовой, Гаррет. Ты обещал.

— Я помню, — сказал он, тоже наклоняясь за своей доской, и когда он выпрямился, его лицо было уже другим — не злым, не растерянным, а каким-то спокойным, как будто поцелуй снял напряжение, копившееся со вчерашнего дня, и теперь он мог дышать, и дышал он впервые за долгое время, — я помню, Рамирес. Стейк, салат, десерт. И, возможно, ещё один поцелуй. Если заслужишь.

— Это ты должен заслужить, — парировала я, закидывая доску под мышку и разворачиваясь к пикапу, — я только что обставила тебя на волне, не путай роли.

И я пошла прочь.

Глава 5. Подарок не ко дню

*В море главное не сила рук, а сила
молчания. Кто болтает много — тот
волну злит.*

Скай Рамирес

Скай

Расчёска прошла сквозь волосы в последний раз — от корней до самых кончиков, собирая русые пряди в хвост, который лёг на плечо тяжёлой волной, пахнувшей сандалом, что навсегда связался у меня с вечерами детства, с голосом Джексона, с легендами, которые он рассказывал, пока деревянные зубья ходили вниз по моей голове, — и я, стоя перед зеркалом, оглядела своё отражение, задержавшись на родинке-звезде под левым глазом, которая сегодня казалась чуть темнее обычного, словно сама ночь поставила на мне свою подпись.

Пара взмахов щёткой — ресницы стали длиннее, выразительнее, — затем румянец, лёгший на скулы едва заметным персиковым теплом, и лицо в зеркале из сонного сделалось живым, готовым к новому дню, к лекциям, к пробежкам между корпусами, к неизбежным стычкам в столовой, где Гаррет, возможно, снова попытается уколоть меня при всём народе, хотя после вчерашнего заката его уколы вряд ли будут такими же острыми, какими были до того, как он поцеловал меня на пустом пляже под звёздами, — но думать об этом сейчас не хотелось, хотелось просто жить, двигаться, дышать утренним воздухом, который уже просачивался в открытое окно, принося с собой запах соли и эвкалипта.

Топ — простой, белый, без рукавов, — лёг на плечи прохладной тканью, шорты обхватили бёдра, а конверсы, потрёпанные, с выцветшим логотипом на язычке, привычно приняли стопы, и я уже потянулась к рюкзаку, мысленно прокручивая расписание: антропология, потом окно, потом ещё одна пара, которую я, скорее всего, просплю в библиотеке, — когда из коридора раздался голос, низкий, чуть хрипловатый, тот самый, что я узнала бы из тысячи:

— Скай.

— Я готова, выхожу! — крикнула я, закидывая рюкзак на плечо и делая шаг к двери.

Джексон стоял в проёме, прислонившись плечом к косяку, скрестив руки на груди, и его глаза цвета выцветшей бирюзы оглядели меня с головы до ног — не оценивая, а скорее с той тёплой гордостью, какая бывает у родителей, когда их дети вдруг вырастают и становятся красивыми, хотя он никогда не был мне родителем в строгом смысле слова, он был кем-то большим, кем-то, чему нет названия в антропологических учебниках.

— Вижу, красотка, — сказал он, и его усы дрогнули в улыбке.

— Спасибо, — я улыбнулась в ответ, широко, открыто, так что зубы блеснули в утреннем свете, и уже собиралась проскользнуть мимо него, на волю, к пикапу, к дороге, к новому дню, но его рука легла на дверной косяк, преграждая мне путь. — В чём дело? — я замерла, заглядывая ему в лицо, пытаясь прочитать там что-то, но он умел прятать свои мысли лучше, чем кто-либо, кого я знала.

— Я хотел сделать тебе подарок, — начал он, и его голос прозвучал не так, как обычно, — в нём появилась та неуверенность, которая бывает у людей, когда они делают что-то, что давно планировали, но до последнего сомневались, стоит ли, — у тебя скоро день рождения, совершеннолетие и всё такое.

— Зачем? — перебила я, и мой голос, наверное, прозвучал резче, чем я хотела, потому что я терпеть не могла, когда на меня тратили деньги, а Джексон тратил, хотя у самого их было ровно столько, чтобы заплатить за электричество, купить табак, который он не курил, и иногда

— доску для сёрфинга, которую он вырезал сам, а потом продавал туристам за бесценок. — Я же говорила, не надо ничего дарить.

— Да, но.. — он замялся, и его рука, преграждавшая мне путь, опустилась, нырнула в карман, вынырнула оттуда с крошечной коробочкой, завернутой в обёрточную бумагу, мятую, явно лежавшую где-то в ящике с прошлых праздников, но заботливо разглаженную, — это небольшой подарок, в общем вот. Открой её, когда будет день рождения.

Я взяла коробочку — она была лёгкой, почти невесомой, и мои пальцы, сжимавшие её, почувствовали, как внутри что-то перекатывается, маленькое, твёрдое, — и я, не удержавшись, встряхнула её, поднеся к уху, и звук вышел таким, каким бывает, когда горошина катается по деревянному дну.

— А зачем тогда сейчас подарил? — хмыкнула я, вертя коробочку в руке, разглядывая обёртку, заклеенную скотчем, слишком толстым, явно не предназначенным для подарков.

— Осторожнее, — Джексон поморщился, провожая коробочку взглядом, полным тревоги, словно там был не подарок, а по меньшей мере хрупкое сердце, которое он доверил мне, — решил сейчас, потому что меня могут отправить работать в порт и боюсь не успеть подарить. Сама знаешь, как это бывает: сегодня здесь, завтра — там, и дни рождения проходят без нас.

Он сказал это буднично, но в его голосе проскользнула тень, которая всегда появлялась, когда он говорил о работе, о деньгах, о будущем, — и я вдруг остро, всей кожей, почувствовала, как сильно люблю этого человека, этого стареющего мужчину с вечной щепкой в волосах, который взял меня к себе, когда больше никто не хотел брать.

— Ну ладно, — я шагнула к нему, привстала на цыпочки и чмокнула его в щёку, — спасибо! Мне очень приятно. Честно.

Коробочка легла на тумбочку у входа — туда, где уже лежали ракушки, старые билеты на автобус и ключи от пикапа, — и я выбежала из домика, хлопнув дверью, чувствуя, как утреннее солнце обрушивается на плечи, как ветер с океана треплет волосы, как трава под ногами пахнет росой и землёй, и всё это вместе складывалось в ту удивительную музыку, которая называется «дом».

Пикап, дребезжа всем, что могло дребезжать, а могло в этом кузове практически всё, вырулил на Главную улицу, и Ковилл поплыл за окнами — дома, похожие на ракушки, налипшие на корягу, вывеска «Солёного тюленя», ещё тёмная в этот ранний час, причал, где старый Финн уже возился со своими сетями, и всё это было таким знакомым, таким родным, что у меня защемило в груди — не от грусти, а от особенной нежности, какая бывает, когда понимаешь, что место, где ты вырос, навсегда останется частью тебя, куда бы ты ни уехала.

— Хорошего дня, детка, — сказал Джексон, когда пикап затормозил у ворот кампуса, и его рука, сухая, шершавая, на секунду накрыла мою ладонь, сжатую на колене.

— И тебе! — я выпрыгнула из кабины, хлопнула дверцей, помахала ему вслед, и пикап, чихнув на прощанье сизым дымком, скрылся за поворотом, оставив меня одну на парковке, среди чужих машин, под огромным небом, которое здесь, в Санта-Крузе, казалось выше, чем в Ковилле, — или это просто здания вокруг были выше, и от этого горизонт отодвигался, давая место новым мыслям.

— Эй, Рамирес, а чё не на автобусе приехала? — раздался голос за спиной, и я, даже не оборачиваясь, узнала эту интонацию — ленивую, протяжную, как будто слова ленились срываться с языка. — Он хотя бы лучше выглядит, чем эта разруха-железяка.

Компания — три парня, две девушки, все из тех, кто носит брендовые шмотки и считает, что это даёт им право судить о чужих машинах, — стояла у входа в кампус, и говоривший, растянул губы в усмешке, ожидая реакции, ожидая, что я оправдаюсь, или смущусь, или хотя бы опущу глаза.

— Простите, забыла спросить у ваших мамок, которые насосали на ваши тачки, — бросила я, проходя сквозь них, как нож сквозь масло, задевая плечом чьё-то плечо, и услышала

за спиной возмущённый вздох, но не обернулась, потому что оборачиваться значило бы признать, что их слова имели значение, а они не имели.

Корпус встретил меня прохладой кондиционеров, гулом голосов, эхом шагов по линолеуму, и я направилась к своему шкафчику — номер 347, третий ряд, что вечно заедал, если не дёрнуть ручку под правильным углом. Пальцы привычно прокрутили код: 5-6-9-2, дверца открылась с тихим скрипом, и я запахала рюкзак внутрь, оставив только учебник, тетрадь и ручку, и уже собиралась захлопнуть дверцу, когда звук — громкий, металлический, отвратительно знакомый — разорвал утреннюю тишину коридора.

Звук тела, впечатанного в шкафчик.

Я повернулась, и мои глаза нашли источник шума: трое старшаков что вечно крутились у спортзала, нависали над парнем, прижатым спиной к дверцам шкафчиков, и один из них — Майло, — держал парня за ворот футболки, сжимая ткань в кулаке так, что костяшки побелели.

— Чё ты такой мерзкий, а? — голос Майло был гнусавым, как будто он говорил в нос, и слова выходили наружу жеваными, невнятными.

— Тебе бы в психушку, Брукси, — поддакнул второй, тот, что стоял справа, и его рука уже замахивалась для нового толчка.

Брукси? Я замерла. Райан Брукс? Тот самый, что выиграл третье место и не явился на пьедестал? Тот самый, что живёт у Старой лагуны и серфит при лунном свете?

— Отвалите от меня, — голос Райана прозвучал глухо, сдавленно, но в нём не было страха, скорее — усталость, что накапливается за годы, когда ты не такой, как все, и тебе постоянно напоминают об этом.

— А то что? Пойдёшь к водичке и нажалуешься на нас? — Майло загоготал, и его смех подхватили остальные. — Мы слышали сегодня утром, как ты разговаривал с водой, совсем поехал от учёбы. «Привет, водичка», — передразнил он, пискляво, как будто изображал ребёнка. — «Как у тебя дела, водичка?»

Что-то внутри меня щёлкнуло — не ярость, нет, а что-то более холодное, более острое, то, что всегда просыпалось, когда сильные обижали слабых, хотя Райан Брукс не выглядел слабым, он выглядел просто другим.

— Эй, отвалите от него, — мой голос прозвучал громче, чем я планировала, и эхо разнесло его по коридору, отражая от стен, от шкафчиков, от потолка, и старшаки обернулись, как по команде, уставившись на меня с тем выражением, какое бывает у людей, когда их прерывают на середине веселья.

— О-о-о, Рамирес, — Майло выпустил ворот Райана и развернулся ко мне, его руки упёрлись в бока, и его улыбка стала шире, гаже, — ты его подружка, что ли? Его рыцарь, да? Спешись на помощь убогому? А я думал, ты только с волнами разговариваешь.

— Завались, Майло, — сказала я, делая шаг вперёд, потом ещё один, сокращая расстояние, чувствуя, как воздух между нами наэлектризовывается, как перед грозой.

— Ты бы следила за своим языком, малышка, — Майло шагнул ко мне навстречу, и его лицо оказалось слишком близко, и от него пахло жвачкой и ещё чем-то, приторным, как дешёвый одеколон, которым пытаются заглушить запах пота после тренировки, — а то и тебе найдётся местечко у шкафчика. Рядом с Брукси. Будете вместе с водичкой болтать.

Майло сплюнул жвачку на пол — розовый комочек прилип к линолеуму в сантиметре от моего конверса, — и его лицо, приблизившееся вплотную, расплылось в той особенной ухмылке, какая бывает у людей, уверенных в собственной безнаказанности, уверенных, что мир прогнётся под них, стоит только надавить посильнее.

— Слушай сюда, Рамирес, — его голос упал до шёпота, но шёпот этот был громче крика, он проникал под кожу, как заноза, — ты думаешь, раз поймала пару волн и облизала Гаррета Уайлда при всём пляже, тебе теперь всё можно? Ходишь тут, строишь из себя королеву, а на деле ты просто деревенская шлюха, которую папаша-алкаш вышвырнул на помойку.

Воздух в коридоре сгустился. Мои пальцы, сжимавшие тетрадь, побелели — костяшки проступили сквозь загар, как мелкие камешки сквозь воду, — но я молчала, потому что слова, сказанные в ответ, были бы именно тем, чего он добивался, а дарить ему реакцию я не собиралась.

— Молчишь? — он наклонился ниже, и его дыхание, горячее, пахнущее луковой жвачкой и дешёвым протеиновым коктейлем, обдало мою щёку. — Правильно молчишь. Твоё место — открывать рот только для того, чтобы сосать, не для того, чтобы разговаривать. Или ты думаешь, Гаррет будет с тобой нянчиться? Да он тебя трахнет и выбросит, как всех остальных. Ты для него — просто дырка с родинкой, поняла?

Его дружки загоготали — тот, что справа, хлопнул Майло по плечу, поощряя, и звук этого хлопка был как спусковой крючок, но я всё ещё держалась, хотя внутри уже закипало, поднималось от живота к груди, к горлу, к вискам, и перед глазами плыли красные круги, и мышцы руки, что сжимала тетрадь, напряглись до предела, и я почувствовала, как ногти впиваются в ладонь, оставляя полумесяцы, которые завтра превратятся в синяки.

— А может, мне тоже попробовать? — Майло обернулся к приятелям, ища поддержки, и те заржали громче. — Раз уж Гаррет не против поделиться, может, устроим Рамирес экскурсию по шкафчикам? Пусть покажет, на что способна, раз на доске у неё получается, а на коленях — тем более.

Моя рука взлетела сама — без команды мозга, без приказа, — сжалась в кулак, и я уже видела, как мои костяшки врезаются в его переносицу, как хрящ хрустит под ударом, как кровь брызжет на его дурацкую футболку, и время замедлилось, как на волне, когдаходишь в трубу и всё вокруг замирает, давая тебе возможность выбрать идеальный момент, — но в этот самый момент, за долю секунды до удара, что-то произошло.

Вода обрушилась с потолка — не каплями, не струйками, а сплошной стеной, как будто кто-то опрокинул над коридором гигантское ведро, и противопожарные спринклеры, дремавшие под потолком годами, ожили все разом, завыли, зашипели, и вода была ледяной, колючей, она хлестала по лицу, по плечам, по спине, затекала за шиворот, и Майло, не успевший ничего понять, вскинул руки к лицу, закрываясь, поскользнулся на мокром линолеуме — его кроссовки, дорогие, брендовые, совершенно не предназначенные для скользкого пола, — поехали в сторону, и он рухнул на задницу с глухим стуком, какой издаёт тело, впечатанное в шкафчик, только теперь это тело было его собственное, и его приятели бросились врассыпную, как тараканы при свете, — а я стояла, мокрая насквозь, с занесённым для удара кулаком, и вода текла по моим волосам, по ресницам, по кончикам пальцев, и внутри меня что-то переключилось.

Злость ушла — не постепенно, а разом, как вода уходит в песок во время отлива, — и на её месте родился смех. Не истеричный, не нервный, а чистый, звонкий, почти детский смех, который рождается в животе и поднимается вверх тёплой волной, потому что это было слишком нелепо, слишком вовремя, слишком похоже на то, как будто сама вселенная решила вмешаться и дать Майло по заслугам, не дожидаясь моего кулака.

— Майло, — сказала я, опуская руку и глядя на него сверху вниз, как он сидит на мокром полу, жалкий, растерянный, с каплями, стекающими по его напомаженным волосам, и его футболка прилипла к телу, и от него пахло мокрой собакой, хотя собакой он не был, он был просто мокрым, — знаешь, а тебе идёт. Лужа — твоя естественная среда обитания. Теперь ты хотя бы внешне соответствуешь тому, что у тебя внутри.

Он попытался встать — подскользнулся снова, и его ладонь хлюпнула по луже, подняв фонтан брызг.

— Ах ты — начал он, но осёкся, потому что вода снова хлынула сильнее, словно кто-то повернул невидимый кран, и спринклеры над его головой зашипели с утроенной силой, и ему пришлось закрыть лицо руками.

— Осторожнее, — я покачала головой, делая шаг назад, чтобы не замочить конверсы ещё сильнее, хотя они уже хлюпали при каждом движении, — твоя злость разрушает только тебя. И твою причёску. Но причёску не жалко, она всё равно была дурацкая.

Я повернулась к Райану. Он стоял всё там же, у шкафчиков, мокрый не меньше моего, и его тёмные волосы штормкой облепили лицо, с них капало, струйки бежали по скулам, по шее, по вороту футболки, но он не пытался вытереться, не пытался убежать — он просто стоял, глядя на меня, и в его карих глазах было что-то, чего я не могла понять, какая-то смесь потрясения и узнавания, как будто он увидел то, что видел раньше, но не верил, что увидит снова.

— Ты в порядке? — спросила я, и он кивнул — коротко, почти незаметно, — но не сказал ни слова.

Спринклеры вдруг замолкли — так же внезапно, как и начали, — и в коридоре повисла тишина, нарушаемая только капаньем воды с потолка и чьим-то истерическим смехом за поворотом. Я схватила Райана за руку — его ладонь была холодной, мокрой, и пальцы чуть дрожали, хотя, может быть, это мои дрожали, кто теперь разберёт, — и потащила его за собой, прочь от шкафчиков, прочь от Майло, который всё ещё сидел на полу и матерился сквозь зубы, прочь из этого коридора, который пропах хлоркой и унижением.

— Пошли, Брукс, — бросила я через плечо, и мои мокрые волосы хлестнули по щеке, оставив дорожку, — нечего тебе тут торчать. У этих придурков короткая память, через пять минут они забудут, что случилось, и решат, что во всём виноват ты. Или я. Или мы оба. Лучше исчезнуть, пока они не очухались.

Я тащила его за собой по лестнице, не оборачиваясь, чувствуя, как его пальцы — холодные, мокрые, напряжённые — сжимаются в моей ладони, но не отвечают на хватку, словно он позволял себя вести, но не принимал этого, и наши шаги отдавались эхом в бетонном пролёте, и где-то снизу ещё доносились вопли Майло, но с каждым пролётом они становились тише, глуше, пока не растворились в общем гуле университета, который уже начал просыпаться и наполняться студентами, спешащими на первую пару. На втором этаже, у автомата с газировкой, который вечно жужжал и мигал красной лампочкой «сдачи нет», Райан вырвал руку — резко, как будто моё прикосновение обожгло его, — и отступил на шаг, вжавшись спиной в стену, и его мокрые волосы, облепившие лицо, делали его похожим на человека, которого только что вытащили из воды и который ещё не понял, спасён он или пленён.

Он устался в пол — туда, где с наших кроссовок натекала лужица, маленькая, жалкая, — и его плечи, широкие, накачанные, совсем не соответствующие тому тихому, почти невидимому образу, который рисовали его однокурсники, были напряжены, как натянутая струна.

— Я мог и сам справиться, — сказал он, не поднимая глаз, и его голос прозвучал глухо, сдавленно, словно он говорил сквозь толщу воды.

— Всегда пожалуйста, Брукси, — я оперлась плечом о стену рядом с ним, скрестив руки на груди, чувствуя, как мокрая футболка липнет к лопаткам, как вода капает с кончиков волос на плечи, на пол, на носки моих конверсов, которые теперь хлюпали при каждом движении.

Он наконец поднял глаза — карие, глубокие, с тем выражением, которое я видела мельком там, внизу, у шкафчиков: потрясение пополам с узнаванием, — и посмотрел на меня так, будто я была загадкой, которую он не мог разгадать.

— Зачем ты влезла?

Я пожала плечами, и капли сорвались с моих плеч, разлетелись в стороны.

— Потому что Майло Шедди должен был получить по заслугам хоть раз в жизни, и — о боги! — он получил. Вышло эпично, да? Ты видел, как он поскользнулся? Как его задница встретилась с линолеумом? Это было лучше, чем любой серф-трюк, который я когда-либо видела.

Райан смотрел на меня, и его брови — тёмные, чуть изогнутые — сдвинулись к переносице, образовав вертикальную складку, что появляется у людей, когда они пытаются понять,

шутят ли с ними или говорят всерьёз, — и он не улыбнулся, не рассмеялся, а продолжал сверлить меня взглядом.

— Ты.. Ты это сделала? — спросил он тихо, и его голос дрогнул на последнем слове.

Я моргнула, и в наступившей паузе услышала, как автомат с газировкой загудел, включая охлаждение, и как где-то на первом этаже хлопнула дверь, и как чей-то смех разнёсся по лестничному пролёту, но здесь, на втором этаже, время замедлилось, как на волне перед тем, как она обрушится.

— Нет, — я покачала головой и развела руками, мокрыми, загорелыми, с обгрызленным ногтем на мизинце, который я всё собиралась подпилить, но вечно забывала, — просто вселенная решила дать мне шанс. Или тебе. Или нам обоим. Спринклеры сработали, Райан. Так бывает. Старая проводка, скачок напряжения, кто-то курил в туалете и активировал датчики, — я перечислила причины, загибая пальцы, и с каждого пальца капала вода, — всякое случается. Спроси у пожарных.

— Это шутка? — его голос стал жёстче, требовательнее, и он отлепился от стены, выпрямился во весь рост, и теперь он нависал надо мной, высокий, широкоплечий, и его тень упала на меня, перекрывая свет люминесцентных ламп.

— Нет, — я задрала голову, встречая его взгляд, и мои глаза, голубые, загоревшиеся огоньком, который всегда появлялся, когда меня пытались припереть к стенке, встретились с его карими, — ты хоть видел одного человека, который может управлять водой? Мы живём в реальном мире, а не в комиксах, Райан. Никто не умеет призывать спринклеры силой мысли. Это просто совпадение. Счастливое совпадение или несчастливое, если ты теперь поступишь.

Я замолчала, но внутри меня что-то ёкнуло — то самое чувство, которое я испытывала на волне, когда вода отзывалась на мои движения, когда ритм прибоя совпадал с моим пульсом, когда океан говорил со мной, а я не знала, слышит ли он меня в ответ.

— Кстати, — сказала я, и мой голос изменился, стал тише, серьезнее, — а что они имели в виду, когда говорили, что ты разговариваешь с водой?

Тишина. Глубокая, плотная, как та, что бывает под водой, когда ныряешь с головой и всё вокруг замирает.

Райан смотрел на меня — хмурясь, сдвинув брови, — и его челюсть дёрнулась, и на скулах проступили желваки, и я видела, как внутри него происходит борьба, которую я слишком хорошо знала, потому что сама боролась с ней каждый раз, когда кто-то спрашивал меня, почему я сижу на скале и смотрю на воду, почему я слышу ритм, который не слышат другие, почему я чувствую то, чего не чувствуют все остальные. А потом он прикусил губу — нижнюю, чуть обветренную, — опустил голову, так что мокрая чёлка упала на глаза, развернулся и пошёл прочь. Не быстро, не бегом, а тем шагом, каким уходят люди, когда им нечего сказать, когда слова застревают в горле, как рыбы кости, когда проще уйти, чем объяснить.

— А где моё «спасибо»? — крикнула я ему вслед, но он не обернулся, только плечи его дрогнули, и он свернул за угол, исчез, растворился в утреннем полумраке коридора, как невидимка, которым его все считали.

Я осталась одна — мокрая, замёрзшая, посреди пустого коридора, с каплями, стекающими по вискам и по шее, — и тишина, оставшаяся после его ухода, была какой-то звонкой, оглушительной, как будто весь мир затаил дыхание.

— Станный, — пробормотала я, оглядывая себя, свой топ, прилипший к телу, свои шорты, потемневшие от воды, свои конверсы, которые превратились в два маленьких бассейна. — Чёрт, у меня даже нет сменной одежды.

Я хлопнула себя руками по швам, подняв фонтан брызг, и вода разлетелась в стороны, осев на полу крошечными каплями. Где-то в конце коридора открылась дверь аудитории, и

оттуда высунулась чья-то голова — девушка с блондинистой чёлкой, — окинула меня взглядом, полным смеси ужаса и любопытства, и скрылась обратно.

— Поехавшая, — донеслось до меня, и я услышала, как внутри аудитории зашептались, зашущукались, и слово «Рамирес» прокатилось по рядам, как эхо.

Я закатила глаза — жест, который я отточила до совершенства, — и направилась в свою аудиторию, оставляя за собой мокрые следы на линолеуме, и каждый шаг отдавался хлюпаньем, и студенты, мимо которых я проходила, шарахались в стороны, прижимая к груди учебники, и их взгляды были как липкая паутина — невидимая, но осязаемая.

Дверь аудитории скрипнула, когда я толкнула её плечом, и двадцать пар глаз уставились на меня, как на привидение. Я прошла к своему месту — последний ряд, место у окна, — и села с хлопом, который издаёт мокрая одежда при соприкосновении с пластиковым стулом, и положила на стол учебник. Страницы слиплись, буквы расплылись, тетрадь превратилась в кашу, а ручка — ну, ручка, кажется, выжила.

— Чёрт! — прошипела я, пытаясь разделить мокрые листы, но они рвались под пальцами, и это было последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения, и без того натянутого до предела.

Парень, сидевший слева — рыжеватый, в очках, с тетрадю, заполненной аккуратным почерком, — покосился на меня с тем выражением, какое бывает у людей, когда они видят что-то одновременно пугающее и забавное, и его взгляд задержался на моей мокрой футболке, на каплях, стекающих с волос, на растёкшейся туши, которая, наверное, уже превратила меня в подобие панды.

— Чего пялишь? — бросила я, не поворачивая головы, но чувствуя, как мои слова царапают воздух.

Пара прошла как обычно — с той лишь разницей, что я сидела, окружённая лужицей, которая медленно, но верно расширяла свои границы, подбираясь к рюкзаку парня в очках, и он то и дело косился на меня, поджимая ноги, словно боялся, что сырость заразна, а профессор, монотонно бубнивший про ритуалы инициации у племён Океании, вдруг остановился на полуслове, заметив в моём лице нечто, не вписывавшееся в его лекцию.

— Мисс Рамирес, — его голос прозвучал сухо, как шелест страниц, — вы что, прямо с сёрфинга пришли? Вся аудитория провоняла океаном.

По рядам пробежал смешок — негромкий, осторожный, словно никто до конца не был уверен, можно ли смеяться над Скай Рамирес после того, что случилось в коридоре, — и я, выпрямившись на стуле, откинула мокрые волосы с лица, чувствуя, как капля срывается с кончика пряди и шлёпается на раскрытую тетрадь.

— Да, профессор, — ответила я с той самой интонацией, которую обычно приберегала для особо тупых вопросов, — волна победила меня, я упала в воду. Трагическая история. Надеюсь, вы не будете слишком строги к жертве стихии.

Он поморщился — то ли от моего тона, то ли от запаха мокрой одежды, который действительно заполнил аудиторию, но ничего не сказал, только вздохнул, поправил очки и вернулся к своим ритуалам, а я мысленно поблагодарила всех богов, в которых не верила, за то, что меня хотя бы не выгнали с пары, потому что второе замечание за утро могло бы переполнить чашу моего терпения, и без того трещавшую по швам.

К концу лекции я почти обсохла — волосы всё ещё были влажными, топ всё ещё лип к лопаткам, но конверсы перестали хлюпать при каждом шаге, а тетрадь, хоть и пошла волнами, всё же сохранила часть записей, которые можно было разобрать, если сильно прищуриться, и когда прозвенел звонок, я первой выскользнула в коридор, оставив за спиной аудиторию, пропитанную запахом океана и неловкости.

Столовая встретила меня привычным гулом, звоном подносов, криками поварихи, которая сегодня, кажется, снова недосолила суп, и я взяла обычные блюда: сэндвич с индейкой,

картошку фри, чай в бумажном стаканчике, нашла свободный столик в углу, подальше от компании Майло, которая, к счастью, ещё не появилась, и плюхнулась на стул, чувствуя, как усталость наваливается на плечи, тяжёлая, липкая, как мокрая одежда.

Телефон. Я достала его из кармана шорт — и замерла. Экран был тёмным, по нему расплзались микроскопические капли, а когда я нажала кнопку, он не включился, только жалобно пискнул и погас, и внутри меня что-то оборвалось, что связывало меня с миром за пределами этого мокрого, дурацкого, бесконечно длинного дня.

— Дерьмо, — прошептала я, начиная тереть его ладонью, потом схватила салфетку со стола, тёрла экран, тёрла кнопки, тёрла до тех пор, пока салфетка не превратилась в мокрый комок, но телефон не подавал признаков жизни, и я отложила его на край стола — пусть обсыхает, пусть решает, жить ему или умереть, я сделала всё, что могла.

Картошка хрустела на зубах, чай обжигал горло, но я не чувствовала вкуса — мысли мои были далеко, они прокручивали снова и снова ту минуту в коридоре, когда Майло, мокрый, жалкий, сидел на полу, а вода лилась с потолка, и я стояла, занеся кулак, но так и не ударив. Вода начала течь в тот самый момент, когда я разлилась — не просто разлилась, а дошла до той точки, за которой злость переходит в действие, когда мышцы уже напряглись, когда кулак уже летел к цели, и прекратилась ровно тогда, когда я успокоилась, когда схватила Райана за руку и повела прочь, когда внутри меня всё стихло.

Есть ли в этом взаимосвязь? Магия или стечение обстоятельств?

Я усмехнулась собственным мыслям, откусывая сэндвич, и индейка показалась мне резиновой.

Ну да, конечно, Скай, магия в нашем-то мире! Вода, подчиняющаяся твоим эмоциям, что дальше, полёты на метле? Разговоры с океаном? Пора перестать читать грёбаные комиксы и жить реальностью.

Спринклеры сработали из-за скачка напряжения, или из-за того, что кто-то курил в туалете, или из-за того, что проводке сто лет, и она срабатывает сама по себе, без всякой мистики, а Райан Брукс просто странный парень, который бормочет себе под нос, и Майло использовал это, чтобы его задеть. Никакой магии. Никаких голосов океана. Только совпадения, только случайности, только реальность, которая, если честно, порядком надоела.

— Скай?

Голос выдернул меня из размышлений, как рыболовный крючок выдёргивает рыбу из воды, и я подняла голову, встречаясь взглядом с Гарретом. Он стоял у моего столика, держа в руках поднос, и его брови, светлые, выгоревшие на солнце, были сдвинуты к переносице.

— Ты чего мокрая? — спросил он, и в его голосе сквозило недоумение.

— Серфила, — ответила я, возвращаясь к своей картошке.

— Реально? — он поставил поднос на стол и сел напротив, без приглашения, и то, что он был один, без Итана, без своей свиты, без обычного антуража из обожателей и подпевал, заставило меня на секунду замереть. — Прямо так?

— Ага, — я отправила в рот очередную картофелину, прожевала, проглотила, не отводя взгляда от своей тарелки.

— Расскажешь, что случилось на самом деле?

Моя рука, подносящая картошку к губам, замерла в воздухе, и я наконец подняла глаза, встречаясь с его взглядом.

Он что пытается быть милым? Как же мерзко. Как же до отвращения, до скрежета зубовного мерзко, когда Гаррет Уайлд пытается быть милым.

— Цапалась с Шедди, — сказала я равнодушным тоном, откусывая картошку, — хлынула вода из спринклеров, промокла. Конец истории.

— С Майло? — он нахмурился сильнее, и его пальцы, сжимавшие вилку, побелели. — Из-за чего?

— Какая разница? — я запихнула вилку в рот, не глядя на него, надеясь, что он поймёт: мне плевать на него, на этот разговор, на его попытки быть милым, на всё, что случилось вчера на пляже.

— Ты не сталкиваешься с ним, даже если он нарывается на конфликт, — Гаррет отложил вилку, откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди, — значит, он задел тебя за живое. Что он сказал?

Я перестала жевать. Тишина за нашим столиком стала плотной, как та, что бывает под водой, и я смотрела на Гаррета, а он смотрел на меня.

— Он назвал меня шлюхой, — сказала я, и слова вышли наружу раньше, чем я успела их остановить.

— Что? — его голос упал, стал ниже, опаснее.

— Он назвал меня шлюхой, потому что я вступилась за Брукса. Доволен? Теперь ты знаешь. Можешь идти.

— Я поговорю с ним, — он уже начал подниматься, и его челюсть была сжата так, что желваки проступили на скулах.

— Не надо с ним разговаривать, — я вскинула руку, останавливая его, и моя ладонь, всё ещё чуть влажная, почти коснулась его груди, но замерла в воздухе, — не надо решать эту проблему. Не надо делать вообще ничего, Уайлд. Ты мне не парень, ты мне не нравишься, несмотря на наш поцелуй и на твою симпатичную мордашку. Это ничего не значит, понял? Ничего.

Он замер. Его глаза — глубокие, тёмные, — смотрели на меня с тем выражением, которое я уже видела вчера на пляже: изумление, смешанное с обидой, смешанное с тем, чему я не хотела давать названия.

— Я просто пытался быть милым, — сказал он тихо, и его голос прозвучал так, словно я ударила его не кулаком, а словами, что было гораздо больнее.

— И что тебе это даст? — я склонила голову набок, чувствуя, как внутри меня закипает злость, которую я сдерживала с тех пор, как вышла из аудитории, с тех пор, как Райан вырвал руку и ушёл, не сказав спасибо, с тех пор, как Майло назвал меня шлюхой, с тех пор, как телефон умер у меня в кармане. — Между нами ничего не будет, Уайлд, пойми это. Ты не в моём вкусе. Ты красивый, да. Ты отлично стоишь на доске, да. Ты поцеловал меня так, что у меня подкосились колени, да, но это ничего не значит. Ты — Гаррет Уайлд, звезда, любимец спонсоров, парень, который меняет девушек как перчатки, а я — Скай Рамирес, которая не хочет быть очередной галочкой в твоём списке. Так что просто не надо. Не пытайся быть милым. Это не работает.

Он стоял, глядя на меня, и его лицо менялось — мягкость, появившаяся было в чертах, уходила, как вода в отлив, и на её место возвращалось то, что было раньше: гордость, холодность, защитная броня, которую он носил как вторую кожу.

— Какая же ты сука, Рамирес, — сказал он, и в его голосе не было злости, только усталость, которая появляется, когда ты слишком долго пытался быть кем-то другим и наконец понял, что это бесполезно, — с таким отношением ты всегда будешь одна.

Он развернулся, оставив поднос на столе, и пошёл прочь, и его спина, прямая, напряжённая, удалялась, пока не растворилась в толпе студентов.

Я проводила его взглядом и моя бровь, левая, поползла вверх, застыв где-то на полпути к линии волос. Ну и ладно. Пальцы сами нащупали вилку, поддели остывшую картофелину, отправили в рот, и я пожала плечами — движение, которое должно было означать «*мне всё равно*», но вышло чуть более резким, чем я планировала. Мне от этого лучше. Определённо лучше. Гораздо лучше, чем если бы он сидел напротив, сверлил меня своими карамельными глазами, пытался быть милым, а я бы гадала, настоящая эта милота или очередной пункт в его списке побед. Одной быть проще — никто не ждёт, что ты будешь улыбаться, когда не хочется,

никто не лезет в душу, никто не называет сукой только за то, что ты не готова растаять от его обаяния, как мороженое на солнцепёке. Я прожевала, проглотила, запила остывшим чаем, который отдавал бумагой, и доела всё до последней крошки потому что еда была оплачена, потому что выбрасывать еду меня с детства учили как грех, потому что голодная Скай была ещё более колючей, чем сытая, а колючесть следовало дозировать.

Поднос со стуком лёг на ленту раздачи, повариха окинула меня взглядом поверх запотевших очков, но ничего не сказала, то ли потому, что мой вид не располагал к вопросам, то ли потому, что за сегодня она уже насмотрелась на мокрых студентов и я была не первой, и я вышла в коридор, поправив рюкзак на плече, чувствуя, как влажная ткань топа наконец-то начала отлипать от кожи, сменяясь просто прохладой, почти приятной в духоте университетских коридоров.

Следующая пара ждала меня в другом корпусе — океанография, предмет, который я выбрала по остаточному принципу, потому что он вписывался в расписание, потому что он был связан с водой, потому что где-то в глубине души я надеялась, что наука объяснит мне то, чего не могли объяснить легенды Джексона, — и я пересекла внутренний дворик, залитый солнцем, где на скамейках сидели студенты, шурясь в телефоны, смеясь, обсуждая что-то неважное, и их лица казались мне чужими, далёкими, как фотографии в чужом альбоме. Несколько голов повернулись в мою сторону — девица с блондинистой чёлкой, что выглядывала из аудитории, что-то зашептала подруге, прикрывая рот ладошкой, и слово «спринклеры» долетело до меня обрывком, лёгким, как пыльца, но я прошла мимо, не удостоив их взглядом, потому что реагировать означало бы признать, что их мнение имеет вес, а оно не имело.

Аудитория океанографии была больше, чем предыдущая, — амфитеатр, уходящий вниз рядами, с огромным экраном, на котором сейчас светилась заставка с изображением океанического дна, и с аквариумом у стены, где плавали две сонные рыбки, не подозревавшие, что за ними наблюдают сорок пар глаз. Я заняла место на верхнем ряду — подальше от профессора, подальше от чужих локтей, — и достала уцелевшую тетрадь, что пошла волнами от воды, но ещё держалась, и ручку, которая, слава богам, писала. Учебник я забыла в шкафчике, но это было не страшно — лекции по океанографии я и так знала наизусть, не потому что учила, а потому что жила этим, потому что каждый раз, когда профессор говорил о течениях, я чувствовала их кожей, а когда он показывал схемы волн, я видела не схемы, а живую воду, что держала меня на доске каждое утро.

Лекция тянулась — профессор, сухопарый мужчина с седой бородкой клинышком, говорил о термохалинной циркуляции, о конвейере течений, о том, как вода путешествует по планете, поднимаясь и опускаясь, нагреваясь и остывая, — и его голос, размеренный, усыпляющий, обволакивал, как тёплое одеяло, и я ловила себя на том, что мои мысли уплывают далеко, туда, где океан встречается с небом, где волны встают стеной. Я записывала что-то машинально — «Гольфстрим», «апвеллинг», «солёность», но строчки выходили кривыми, и на полях сама собой появилась закорючка, напоминающая волну, а рядом с ней — звёздочка, и я поймала себя на том, что рисую её уже не первый раз, и усилием воли заставила себя перестать.

Когда прозвенел звонок, я вздрогнула, оказывается, я почти задремала, убаюканная голосом профессора и теплом, которое наконец-то пробралось под кожу, высушив одежду до состояния «почти сухая», и, собрав вещи, спустилась по ступенькам к выходу, где меня уже ждал остаток дня, такой же длинный, как этот коридор, и где-то впереди маячила перспектива возвращения в Ковилл, в тишину, в запах сандала, в скрип половиц и коробочку на тумбочке, которую я обещала открыть только в день рождения, но которая уже сейчас манила меня своим крошечным содержимым, перекатывавшимся внутри с тихим стуком, похожим на сердцебиение.

Тренировочная база клуба располагалась в бухте по соседству с Тихой, там, где берег делал плавный изгиб, образуя естественный амфитеатр, защищённый от ветра невысокими

скалами, поросшими диким виноградом, и когда я спустилась по деревянной лестнице, выбитой прямо в склоне, солнце уже начало клониться к вечеру, окрашивая воду в тот самый оттенок расплавленного золота, который всегда напоминал мне о детстве, о Джеконе, о вечерах с расчёской и легендами.

На песке уже собрались — десять человек, плюс-минус те, кто регулярно появлялся на тренировках, не пропуская ни одной, потому что тренер, Маркус Коул, бывший профи, сломавший позвоночник на Большом Пятне и теперь учивший молодёжь тому, чего сам уже не мог делать, не терпел опозданий, — и я, сбегая по последним ступенькам, заметила знакомые силуэты. Гаррет стоял у кромки воды, доска под мышкой, гидрокостюм расстёгнут до пояса, обнажая пресс, который был его визитной карточкой, но сейчас, после нашего разговора в столовой, он не смотрел в мою сторону или делал вид, что не смотрит, что было ещё красноречивее. Чуть поодаль, у скалы, на корточках сидел Райан Брукс, перебиравший лиш, и его тёмные волосы, всё ещё влажные — он явно уже успел окунуться до начала тренировки, падали на глаза шторкой, скрывая выражение лица, но что-то в его позе, в том, как его пальцы перебирали нейлоновый шнур, говорило о напряжении, которое он носил с собой, как рюкзак, набитый камнями.

— Рамирес, — голос тренера прозвучал над пляжем, перекрывая шум прибоя, — ты опоздала на четыре минуты. Разминка — два круга вокруг скалы, потом догоняешь группу.

Я хотела возразить — сказать, что автобус опоздал, что телефон сдох и я не видела времени, что день сегодня вообще не задался, но, взглянув на Маркуса, на его квадратную челюсть, на его шрам через левую бровь, на его руки, сложенные на груди, как две дубины, я передумала и молча скинула рюкзак на песок, стянула футболку, под которой уже был гидрокостюм, и бросилась в воду.

Два круга вокруг скалы вымотали меня так, что я на минуту забыла обо всём, остались только мышцы, горящие от усилия, солёная вода, затекающая в рот при каждом вдохе, и ритм гребли, который отдавался в висках, как барабанная дробь, и когда я наконец догнала группу, тренер Коул уже выстроил всех в линию у кромки воды, расхаживая перед строем, как генерал перед битвой.

— Сегодня работаем над входом в трубу, — его голос, хриловатый, прокуренный, перекрывал шум прибоя без всякого мегафона, — никаких фокусов, никакой самодеятельности. Я свистну — вы гребёте к пику. Я махнул красным флажком — вы уступаете волну тому, кто ближе к гребню. Никаких подрезок, Рамирес, — он бросил на меня взгляд, быстрый, острый, как бросок копья, — ты сегодня уже отличилась, я слышал. Так что соберись и работай чисто. Остальные — тоже. Уайлд, не геройствуй. Брукс, не прячься за спинами. Кейт, не кипятись раньше времени. Всем ясно?

Десять голосов пробормотали что-то утвердительное, и мы вошли в воду — не так, как входят отдыхающие, медленно, с опаской, а так, как входят те, для кого океан был не курортом, а полем боя, рингом, местом, где решается, кто ты есть на самом деле, — и вода приняла нас, обняла, подняла на своих ладонях, и я, лёжа на доске, почувствовала, как напряжение этого дня понемногу отпускает, растворяется в соли, в ритме, в том самом ритме, который был древнее любого университета, древнее любой науки.

Тренер свистнул — первый заход. Волна шла средняя, не та, на которой можно показать класс, а рабочая, тренировочная, и мы по очереди вставали на неё, отрабатывая вход, поворот, выход, а Маркус с берега кричал в мегафон: *«Колени мягче, Уайлд! Рамирес, не заваливай корпус! Кейт, не режь дугу, ты не пилу держишь, а доску!»* — и его голос летел над водой, как чайка, и каждый из нас ловил свою волну, свою ошибку, своё исправление.

И вот тут я увидела Райана.

Он ждал своей очереди чуть в стороне от группы, то ли сам отодвинулся, то ли его оттеснили, я не заметила, и когда тренер свистнул для него, когда волна поднялась из глубины,

тёмно-зелёная, с белым гребешком пены, он не просто встал на доску, он вошёл на неё, как всходят на сцену: без суеты, без рывков, и его тело, высокое, накачанное, но двигавшееся с той плавностью, которая не даётся тренировками, а даётся чем-то иным, начало танец. Доска под ним не скользила — она пела. Каждое движение — поворот плеча, перенос веса с пятки на носок, касание ладони о стену воды, — было не спортом, а музыкой, и волна отвечала ему, подстраивалась, затихала там, где ему нужно было пройти, и вздымалась там, где ему нужно было ускориться, и в этом взаимодействии не было борьбы, не было покорения — был диалог, о котором рассказывал Джексон, который я сама чувствовала иногда, в редкие моменты, когда океан говорил со мной, а я слышала.

Труба закрылась — и он исчез в ней, растворился в изумрудной глубине, и на секунду мне показалось, что он не выйдет, что волна забрала его, как забирала тех, о ком рассказывал Томас у костра, но он вышел, выскользнул за мгновение до обрушения, и его лицо, мокрое, с прилипшими ко лбу волосами, было спокойным, отрешённым, как у человека, который только что вернулся из такого далека, куда не долетают чайки.

— Брукс! — рявкнул мегафон. — Это был вход в трубу, а не медитация! Соберись!

Райан не ответил, только кивнул едва заметно, и я поймала себя на том, что смотрю на него слишком долго, слишком пристально, и заставила себя отвернуться, сосредоточиться на следующей волне, на команде тренера, на собственном теле, которое слушалось меня хуже, чем обычно, потому что мысли разбегались, как крабы по мокрому песку.

Вторая волна. Третья. Четвёртая. Я входила в ритм, чувствуя, как адреналин сменяется той особенной концентрацией, когда всё лишнее отступает, а остаётся только вода, доска, ветер, и на пятой волне, кажется, или на шестой, я не считала, я вообще перестала считать, я просто жила в этом моменте, как рыба живёт в толще воды, не думая о том, что она рыба, на этой волне я допустила ошибку.

Кейт — рыжая, веснушчатая, с вечно поджатыми губами и манерами, которые говорили, что она не простила мне прошлогодний региональный, где я обошла её на пол-очка, — заходила на волну справа, и я должна была уступить, потому что она была ближе к гребню, потому что тренер не махал красным флажком только потому, что не видел меня в слепой зоне, но я уже разогналась, уже встала, уже поймала этот ритм, и моя доска проскользнула в волну за секунду до того, как Кейт успела подняться на ноги, — подрезала, не специально, нет, просто не заметила, не рассчитала, — и она рухнула в воду с тем самым всплеском, который слышен даже сквозь шум прибоя.

Я вышла из волны, спрыгнула с доски, обернулась — Кейт уже выныривала, отплёвывающаяся, и её лицо, мокрое, красное, искажённое яростью, было лицом человека, который не прощает, который запоминает, который будет мстить, и её голос, пронзительный, как крик чайки над ухом, разрезал воздух:

— Рамирес! Ты совсем берега не видишь?! Это был мой выход, моя волна, ты вообще следишь за тем, что творишь, или думаешь, что тебе всё можно?!

Я спрыгнула с доски, чувствуя, как вода смыкается над плечами, прохладная, успокаивающая, но сейчас она не помогала — слишком много глаз смотрели в мою сторону, слишком много ушей ловили каждое слово, и где-то справа, на периферии зрения, я заметила Райана, который замер на своей доске, не отводя взгляда, и Гаррета, который тоже смотрел, но иначе — с тем выражением, какое бывает у людей, которые уже видели этот спектакль и знают, чем он закончится.

— Извиняюсь, — сказала я, и мой голос прозвучал ровно, почти лениво, как будто я извинялась не за подрезку, а за то, что случайно задела кого-то локтем в очереди за кофе, — не заметила тебя. В следующий раз кричи громче, когда заходишь на волну, Кейт. Или маши рукой. Или флагом. Или найми оркестр, который будет играть туш каждый раз, когда ты собираешься встать на доску.

Я понимала, что это прозвучало не как извинение, а как издёвка, но ничего не могла с собой поделать — день сегодня был слишком длинным, слишком мокрым, слишком пропитанным чужими оскорблениями, чтобы я могла выдавить из себя искреннее раскаяние перед девушкой, которая ненавидела меня с прошлогоднего регионального и при каждом удобном случае отпускала комментарии о том, что «*Рамирес побеждает только потому, что судьи боятся её дяди*», хотя её дядя был старым резчиком по дереву, который в жизни не видел судейскую.

Кейт, однако, не оценила моего тона. Её лицо, и без того красное, пошло пятнами, и она рванулась ко мне, рассекая воду, как торпеда, остановившись в полуметре, так близко, что я видела капли на её ресницах и бисеринки пота над верхней губой, хотя в воде пота не бывает, но Кейт, казалось, кипела с такой силой, что океан не справлялся с охлаждением.

— Ты не заметила меня? — её голос поднялся на октаву, стал почти ультразвуком, и где-то на берегу, я уверена, собаки начали подвывать. — Ты не заметила меня, хотя я была прямо перед тобой, на одной линии, ближе к гребню, и ты должна была уступить, это правила, Рамирес, элементарные правила, которым учат в первый день, но ты, конечно, выше правил, ты всегда была выше правил, потому что ты Скай Рамирес, девочка-звезда, которая думает, что океан принадлежит ей!

— Океан не принадлежит никому, — ответила я, и мой голос, всё ещё ровный, начал набирать обороты, как волна перед штормом, — это мне ещё в детстве сказали, хочешь — могу дать телефон человека, который это сказал, он умный, он тебе объяснит. А правила я знаю. И я извинилась, если тебе нужны извинения на коленях, с цветами и шоколадом, то ты не по адресу, Кейт. Я не твой парень. Если он у тебя вообще есть.

Вот это было лишним.

Я знала, что это было лишним, ещё до того, как слова сорвались с языка, — почувствовала это по тому, как дёрнулся уголок её рта, как сузились её глаза, как пальцы, сжимавшие доску, побелели, — и воздух между нами наэлектризовался, стал плотным, как перед грозой, и тишина, которая вдруг наступила, была не тишиной океана, а тишиной арены, где два гладиатора смотрят друг на друга перед тем, как начать бой.

— Ах ты деревенская дрянь, — выдохнула Кейт, и её голос упал до шёпота, но шёпот этот был громче любого крика, и каждое слово было как камень, брошенный в воду, — ты думаешь, раз ты выиграла пару соревнований, раз ты облизала Гаррета Уайлда на глазах у всего пляжа, раз ты устроила этот цирк со спринклерами, о котором уже весь кампус говорит, — ты думаешь, это даёт тебе право вести себя как королева? Да ты никто, Рамирес. Ты девчонка из дыры, которую папаша-алкаш выкинул на помойку, и если бы не твой дядя-неудачник, ты бы до сих пор сидела в том захолустье и продавала ракушки туристам!

Что-то внутри меня щёлкнуло.

Не так, как утром, когда Майло назвал меня шлюхой и я замахнулась для удара, — а иначе, глубже, опаснее.

Джексон.

Она упомянула Джексона. Она назвала его *неудачником*. И мой голос, когда я заговорила, стал ниже, тише, спокойнее, но это было спокойствие не штиля, а глубины, где живут акулы.

— Кейт, — сказала я, и мои слова легли на воду, как масло, — ты сейчас скажешь что-то, о чём будешь жалеть, не потому, что я тебя ударю, — я не буду тебя бить, ты не стоишь того, чтобы я марала руки, а потому, что есть вещи, за которые словами не извиняются. Мой дядя — не неудачник. Он человек, который вырастил меня, когда больше никто не хотел. И если ты ещё раз откроешь свой рот в его сторону, я обещаю тебе, не как серфер серферу, а как человек человеку, что ты будешь жалеть об этом дольше, чем длится самая долгая волна в твоей жизни. Ты меня поняла?

Кейт открыла рот, чтобы ответить, и в этот момент с берега раздался звук, перекрывший всё: мегафон тренера Коула, усиленный до предела, рывкнул так, что чайки, сидевшие на скале, снялись и улетели, возмущённо крича.

— ДАУНИ! РАМИРЕС! На берег! Обе! Живо!

Я не стала ждать повторного приглашения. Развернула доску, легла на неё и загребала к берегу — мощно, ритмично, чувствуя, как мышцы, разогретые тренировкой, работают как часы, — и краем глаза видела, как Кейт делает то же самое справа от меня, и расстояние между нами сохранялось, как будто мы были двумя параллельными линиями, которым не суждено пересечься, не нанеся друг другу ран.

Песок под ногами был горячим, обжигающим после прохладной воды, и я воткнула доску в песок, стянула шапочку, встряхнула волосами, и капли разлетелись вокруг, сверкая на солнце, и тренер Коул уже шёл к нам, и его лицо было лицом человека, который провёл на этом пляже двадцать лет, видел сотни таких стычек и ни одна из них не доставляла ему удовольствия.

— Стоять здесь, — сказал он, ткнув пальцем в песок, как будто мы были собаками, которым приказали «место». — Обе.

Мы стояли перед ним, как два нахохленных петуха после драки, — мокрые, злые, с досками, воткнутыми в песок по обе стороны, и вода стекала с волос на плечи, на песок, на босые ступни, а тренер Коул не спешил, он вообще никогда не спешил, когда дело касалось разбора полётов, — сначала обвёл нас обоих взглядом, тяжёлым, медленным, как движение ледника, потом вздохнул, и в этом вздохе было всё: годы работы с трудными подростками, сломанный позвоночник, несбывшиеся мечты о большом спорте и бесконечное, неиссякаемое терпение человека, который выбрал учить других тому, чего сам уже не мог.

— Итак, — произнёс он, и его голос, хрипловатый, прокуренный, звучал почти мирно, что было плохим знаком, потому что мирный Коул был опаснее кричащего Коула, кричащий Коул просто выпускал пар, а мирный — готовил разбор, после которого хотелось закопаться в песок, — коротко и без твоих обычных шуточек, Рамирес. Что случилось?

— Подрезала Кейт, — сказала я, не отводя взгляда от горизонта, где солнце уже начало цепляться за край воды, — не специально. Она была в слепой зоне, я её не заметила. Моя ошибка, признаю.

Кейт фыркнула — громко, демонстративно, как будто это фыркание должно было добавить веса её версии, — и её пальцы, сжимавшие доску, всё ещё были белыми от напряжения.

— Не заметила она! — её голос всё ещё дрожал от злости, но теперь к ней примешивались слёзы обиды, и это было хуже всего, потому что плачущая Кейт выглядела не жертвой, а ребёнком, у которого отобрали игрушку. — Тренер, она нагло подрезала меня, как подрезает всех, кто оказывается у неё на пути! Вы же видели, что было на Пойнтбрейке с Гарретом, и в прошлом году на региональных с Тайлером, и сегодня утром с Майло, о чём весь кампус говорит! Это не ошибка, это стиль! Её стиль — идти по головам и делать вид, что так и надо!

Тренер поднял ладонь — широкоую, как лопата, — и Кейт заткнулась на полуслове, проглотив окончание тирады вместе с воздухом.

— Я не спрашивал про Майло, про Гаррета и про всех остальных, — сказал он, и каждое слово было как гвоздь, забитый по самую шляпку, — я спросил про сегодня, здесь, на моей тренировке. Рамирес сказала, что подрезала тебя случайно. Ты утверждаешь, что намеренно. У меня нет повода не верить ни одной из вас — пока. Поэтому, — он повернулся ко мне, и его глаза, выцветшие до цвета старой джинсы, впились в мои, — Рамирес, ты сейчас извинишься перед Кейт. Не так, как ты извиняешься, когда тебе наплевать, а по-человечески. Потому что даже случайная подрезка — это подрезка, и она могла стоить Кейт травмы. А ты, — он повернулся к Кейт, — примешь извинения и оставишь этот конфликт на пляже. В воду вы понесёте доски, а не склоки. Ясно?

Я перевела взгляд с горизонта на Кейт. Она стояла, скрестив руки на груди, и её нижняя губа всё ещё подрагивала, но в глазах уже загорался огонёк торжества, который появляется у людей, когда они чувствуют, что правда на их стороне, даже если это не совсем так. И я, набрав полную грудь воздуха, солёного, влажного, пропитанного вечерним бризом, сделала то, что должна была сделать, — без сарказма, без усмешки, без той кривой ухмылки, которая так бесила миссис Гринберг.

— Кейт, я извиняюсь за подрезку. Это была моя ошибка. Я должна была смотреть внимательнее. Впредь буду.

Тренер одобрительно кивнул — едва заметно, но я заметила, — и повернулся к Кейт, ожидая её ответа. Та поджала губы, помолчала пару секунд, явно раздумывая, не потребовать ли чего-то ещё, но под взглядом Коула сдулась, как проколотый мяч, и её плечи опустились.

— Ладно, — выдавила она, и это «ладно» вышло наружу с тем же скрежетом, с каким открывается заржавевшая дверь, — извинения приняты. Но пусть знает, что в следующий раз я просто так это не оставлю.

— Следующего раза не будет, — отрезал тренер, и в его голосе не было ни сомнения, ни угрозы, только усталая уверенность человека, который сказал это тысячу раз и скажет ещё тысячу, если потребуется. Он поднял мегафон, и его голос разнёсся над пляжем, над водой, над скалами, где чайки уже начали устраиваться на ночлег: — Тренировка окончена! Всем спасибо, все свободны. Рамирес — задержись.

Группа начала выгребать к берегу, доски закачались на волнах, кто-то смеялся, кто-то обсуждал прошедший заезд, и только Райан, выходя из воды чуть поодаль, бросил на меня взгляд — быстрый, почти незаметный, как солнечный зайчик, скользнувший по воде, — и отвёл глаза раньше, чем я успела ответить. Гаррет прошёл мимо, не глядя, его спина, прямая, как мачта, говорила больше, чем любые слова, и я вспомнила нашу стычку в столовой, его «ты всегда будешь одна», и что-то внутри меня сжалось, но я запретила себе об этом думать.

Я осталась на песке, глядя, как солнце медленно сползает к горизонту, и тренер Коул подошёл ближе, скрестив руки на груди, и теперь его лицо было не строгим, а усталым — лицом человека, который слишком много раз повторял одно и то же и не был уверен, что его слышат.

— Рамирес, — сказал он тихо, уже без мегафона, и его голос звучал почти интимно, как разговор двух людей, которые понимают друг друга без лишних слов, — ты талантливая. Очень талантливая. Но талант без дисциплины — это бомба с часовым механизмом. Ты слышишь океан так, как мало кто слышит, — и это дар, но это и ответственность. Ты не можешь просто брать волну, не глядя по сторонам, потому что рано или поздно ты столкнёшься с кем-то, кто не успеет увернуться. И тогда это будет не просто подрезка. Ты понимаешь?

Я кивнула, чувствуя, как его слова оседают внутри — не упрёком, не наказанием, а чем-то вроде предупреждения, которое даётся только тем, кого считают стоящим предупреждать.

— Понимаю, тренер.

— Хорошо, — он хлопнул меня по плечу — тяжело, по-отечески, — и пошёл прочь, к деревянной лестнице, ведущей наверх, оставив меня одну на пустом пляже, где волны всё так же накатывали на берег и отступали, и в их ритме мне снова почудился голос — тихий, почти неразличимый, но живой, — и я стояла, вдыхая закатный воздух, пропитанный солью и вечерней прохладой, и думала о том, что завтра будет новый день, новая тренировка, новые волны, и, возможно, мне всё-таки стоит научиться смотреть по сторонам.

Глава 6. Голоса на закате

*Думаешь, вода мокрая? Она солёная.
От слёз. Наших и не наших. Ты
попробуй — поймёшь.*

Райан Брукс

Райан

Я шёл быстро — почти бежал, хотя бежать было не от кого и не к кому, — прочь от пляжа, прочь от тренировки, прочь от этих взглядов, которые провожали меня каждый раз, когда я выходил из воды, и никто не говорил ни слова, но я чувствовал их кожей, что привыкла к холоду океана, но так и не привыкла к холоду людей, — и тропинка, петлявшая между эвкалиптами, уводила меня вверх, к Старой лагуне, к дому, к тишине, которая была единственным местом, где я мог дышать, не чувствуя, как воздух царапает лёгкие.

Злость — вот что гнало меня вперёд. Я не понимал её, не мог ухватить за хвост, как не можешь ухватить волну, которая уже разбилась о берег, — она просто была, горячая, липкая, пульсирующая где-то под диафрагмой, и я сжимал кулаки, хотя бить было некого, разве что самого себя, за то, что снова оказался в центре внимания, снова стал объектом насмешек, снова позволил кому-то — ей, Скай Рамирес, с её родинкой-звездой и голубыми глазами, которые смотрели на меня сегодня утром с тем непонятым выражением, — влезть в мою жизнь и перевернуть всё вверх дном.

Я думал, что был один на берегу. Рано утром, до рассвета, когда океан ещё спал, а я сидел на песке, свесив босые ноги в воду, и говорил с ним в полный голос — не шёпотом, не про себя, а вслух, как говорят с другом, который никогда не предаст, — и волны отвечали мне, и я смеялся над какой-то историей, которую рассказывало течение, и не заметил, как из-за скалы вышли они: Майло и его компания, человек пять, с бутылками дешёвого пива и тем особенным похмельным блеском в глазах, который бывает у людей, не спавших всю ночь. Они услышали всё или достаточно, чтобы решить, что я сумасшедший, чтобы прийти в университет и устроить этот спектакль у шкафчиков, чтобы вдавить меня спиной в металл и требовать ответа, которого я не мог дать, потому что как объяснить людям, что океан говорит с тобой, если они даже не верят, что рыбы чувствуют боль?

Ладно, отдам должное Рамирес: она переключила их внимание на себя — быстро, уверенно, как переключают канал, когда начинается скучная передача, — и Майло забыл обо мне, захлебнувшись собственной злобой, выплёскивая на неё всё то дерьмо, что копил годами, а она стояла, с занесённым кулаком, и не отводила взгляда, и я смотрел на неё, и что-то внутри меня — то, что обычно молчало, — вдруг заговорило, но я не успел разобрать слов, а потом вода хлынула с потолка, и это было самым странным, самым невозможным, самым пугающим из всего, что случилось за этот бесконечно длинный день.

Она вскипела, объективно, после слов Шедди, и спринклеры взорвались, вода ударила с такой мощью, будто кто-то открыл шлюзы, и напор даже усилился, когда Майло попытался встать, а потом, когда она схватила меня за руку и повела прочь от этих мудаков, вода прекратилась. Резко, словно кто-то повернул невидимый кран.

Я сомневаюсь, что это совпадение. Я очень, очень сильно сомневаюсь всем своим существом, каждой клеткой, которая выросла в этом океане и знает его лучше, чем знает людей, что спринклеры срабатывают просто так, в нужный момент, с нужной силой, подчиняясь чьему-то гневу. Но она не врала мне. Я видел это по её глазам — тем голубым, прозрачным, как мелководье в солнечный день, — она действительно не знает, что это сделала она, или не верит, что такое возможно, или... А есть ли у неё вообще способности? Может, я правда всё навывдумывал,

накрутил себя, как накручивал в детстве, когда боялся, что голоса в голове были признаком сумасшествия, и сейчас зря подозреваю её в том, чего нет и быть не может? Но моя теория не полный бред, потому что я сам — живое доказательство того, что невозможное существует: я слышу голоса океана, точнее голоса — их сотни, тысячи, целый хор, звучащий в голове с тех пор, как мне исполнилось четыре, — и если я имею право на такую странность, то почему она не может иметь право на свою?

Боже, Райан, успокойся с этими способностями уже.

— А вот и снова Райан!

Голоса вырвали меня из мыслей — резко, как вырывают из сна, — и я моргнул, обнаружив, что уже стою на берегу своей бухты, а ноги сами принесли меня сюда, пока мозг пережёвывал случившееся, и океан передо мной был золотым от закатного солнца, и волны лизали песок у самых ступней.

— Он какой-то злой — прошелестел молодой голос, тот, что принадлежал прибрежной волне, всегда любопытной, всегда первой встречающей меня.

— На тренировке не был таким злым! — подхватил второй, чуть глубже, чуть старше.

— Райан, расскажи нам, что случилось! — третий, высокий, как звон колокольчика.

— Да, да! — Поведай нам, Райан!

Голоса обступили меня со всех сторон невидимые, но такие реальные, как прикосновение воды к коже, и я, не раздумывая больше ни секунды, разбежался, оттолкнулся от мокрого песка и прыгнул в воду головой вперёд, чувствуя, как океан смыкается надо мной, принимает в свои объятия, глушит звуки внешнего мира, оставляя только их голоса, шёпоты, музыку, которую никто, кроме меня, не слышал, а потом вынырнул, вдохнул солёный воздух полной грудью и лёг на спину, раскинув руки, позволяя воде держать меня, как она держала тысячи раз до этого.

— Простите, — сказал я тихо, глядя в небо, где уже проступали первые звёзды, бледные, неуверенные, словно боящиеся появиться раньше времени. — Я не хотел срываться. Просто день сложный.

— Расскажи! — потребовали волны хором, и их голоса переплелись, как струи течения, встречающегося у рифа. — Расскажи, расскажи, расскажи! И я рассказал. Лёжа на спине, чувствуя, как вода колышется подо мной в такт дыханию, я говорил — сначала медленно, подбирая слова, потом быстрее, свободнее, — и поведал им всё: про утро, про Майло, про то, как меня вдавили в шкафчик, про её голос, разрезавший гул коридора, про спринклеры и про то, как вода подчинилась чужой ярости, про тренировку, про её извинения перед Кейт, произнесённые сквозь зубы, но всё же произнесённые, про её взгляд, который я поймал на себе там, на волне, когда выходил из трубы. Голоса слушали — не перебивая, не смеясь, не споря, — и это было единственное, что держало меня на плаву, в прямом и переносном смысле, потому что кто ещё выслушает парня, который разговаривает с водой?

— Девушка с родинкой-звездой — прошептал глубокий голос, тот, что шёл из жёлоба на дне, где вода была холодной и древней. — Океан он тянется к ней. Так же, как тянется к тебе.

— Но спринклеры, — возразил я, и мои губы, солёные, обветренные, едва шевелились над водой, — спринклеры — это не океан. Это пресная вода, из труб, из резервуара. Как она могла?.. И даже если могла, она сама не понимает этого. Я спрашивал — она сказала, что это совпадение. И она не врала. Я видел.

— Не всё знание живёт в голове, Райан, — ответил голос, и в нём звучала мудрость, накопленная за тысячелетия, за все те годы, что волны разбивались о берег и отступали, оставляя после себя только пену. — Иногда оно живёт в крови, в костях, в том месте под сердцем, которому нет названия. Ты сам это знаешь. Ты не учился слышать нас — ты просто слышал. Может, и она не училась. Может, она просто может.

Я замолчал, переваривая услышанное, и вода вокруг меня стала спокойнее, словно океан тоже задумался, тоже пытался понять то, что лежало за пределами понимания, и звёзды над

головой засияли ярче, и где-то далеко, у горизонта, кит выдохнул фонтан воды, и звук этого выдоха прокатился по бухте, как вздох самой земли.

— Она защитила тебя, — добавил молодой голос, тот, что принадлежал прибрежной волне, и в нём звучала нотка упрямства, почти детская. — Ты не просил, а она всё равно вступилась. Почему ты злишься? Разве не этого ты хотел — чтобы кто-то был на твоей стороне?

Я закрыл глаза. Вода держала меня, и я чувствовал, как напряжение уходит — не сразу, не полностью, но понемногу, по капле, — растворяясь в соли, в ритме, в голосах, которые звучали во мне и вокруг меня одновременно.

— Я не знаю, — ответил я честно, и это признание было самым трудным за весь день. — Может, потому что я не привык. Может, потому что я думал, что справлюсь сам. Может, потому что она смотрела на меня так, будто знала что-то, чего я сам о себе не знаю. И мне стало страшно.

— Страх — это не слабость, — произнёс глубокий голос, и волна, подкрававшаяся сбоку, лизнула мою щёку, как верный пёс, — страх — это компас. Он показывает, куда тебе нужно идти.

Я открыл глаза, и небо надо мной было уже совсем тёмным, и Млечный Путь растянулся от горизонта до горизонта, я подумал о том, что завтра снова увижу её — в коридоре, или в столовой, или на тренировке, — и не знал, что скажу, не знал, что почувствую, не знал, хватит ли у меня смелости подойти и спросить то, что вертелось на языке с самого утра: «*Ты слышишь его? Ты тоже его слышишь?*»

— Но если так посмотреть, — произнёс я, и слова вышли наружу медленно, задумчиво, как пузырьки воздуха, поднимающиеся со дна, — кто-то вообще может управлять водой? По-настоящему? Не просто чувствовать волну, не просто угадывать её движение, а приказывать ей?

— Конечно может! — отозвался высокий голос, тот, что всегда звучал чуть быстрее остальных, как будто он вечно спешил куда-то, не успевая за собственными мыслями. — Русалки могут!

Я усмехнулся — негромко, одними уголками губ, — и вода вокруг моего рта пошла рябью, словно смеялась вместе со мной.

— Русалки? Это же детские сказки. Красивые, да, но сказки. Мне дед рассказывал, когда я был маленьким, про русалку, которая влюбилась в рыбака, а потом он испугался и сбежал, и она уплыла в темноту. Но это просто легенда. Так, как рассказывают у костра, чтобы дети не заплывали далеко.

— Ничего это не сказки! — возмутился голос, и его возмущение было таким искренним, таким по-детски обиженным, что я перестал улыбаться. — Русалки есть! Некоторые из них добрые — так они и зовутся, русалки, — а есть злые, мы их не любим, они обижают моряков и обычных людей, топят лодки, мутят воду, пугают рыб!

— Мы их зовём сиренами! — вклинился другой голос, пониже, посерьёзнее, и в нём звучала вековая неприязнь, та самая, что копится поколениями и передаётся от волны к волне, от течения к течению.

— Сирены? — я приподнял голову над водой, и капли скатились с волос на лоб, на скулы, на губы. — Те, что поют и убивают моряков? Из греческих мифов?

— Да! — хор голосов прозвучал согласно, и прибрежная волна, подкрававшаяся ближе, лизнула моё ухо, словно хотела поведать секрет. — И русалочки, и противные сирены могут жить среди людей! Они умеют принимать человеческий облик — ходить на двух ногах, носить одежду, даже учиться в университете, представляешь? Но они опасаются воды, потому что могут сразу же стать теми, кем они по природе являются: стоит им коснуться воды — и всё, тайна раскрыта. Поэтому они держатся подальше от океана, от пляжей, от брызгов.

Я нахмурился, переваривая услышанное, и мой взгляд скользнул по берегу, по тёмным силуэтам эвкалиптов, по огонькам Ковилла, мерцавшим вдалеке, как земные звёзды.

— Ну подожди! — перебил новый голос, звонкий, переливчатый, как ручеёк, бегущий по камням. — Звёздочка точно не может быть русалкой!

Звёздочка. Я замер. Они называли её так — из-за родинки, из-за этой крошечной звёздочки под левым глазом, которая, казалось, сияла собственным светом, когда она злилась или смеялась, и голоса подхватили прозвище, как подхватывают припев знакомой песни.

— Точно, точно! Она же занимается сёрфингом! Ей вода не страшна, она любит нас!

— Она нас не слышит, как она может любить нас? — возразил скептический голос откуда-то слева, из-под моей руки, где вода была холоднее.

— Ты не понимаешь! — зазвенел ручеёк, и я почти видел, как он пенится от возмущения. — Она любит океан, а значит — и нас! Она не слышит слова, но чувствует ритм, чувствует дыхание, чувствует всё, что мы ей говорим без слов. Это тоже любовь. Может, даже большая, чем у тех, кто слышит!

Я молчал, и океан молчал вместе со мной — на секунду, на две, на целую вечность, сжатую в один удар сердца.

— Райан, — заговорил глубокий голос, тот, что шёл из жёлоба на дне, и в нём была вся тяжесть воды, вся память о кораблях, ушедших на дно, о городах, поглощённых морем, о временах, когда континенты ещё не разошлись, — следи за ней. Если она всё же русалка — настоящая, добрая русалка, не сирена, — то тебе нужно с ней подружиться.

— Зачем? — я выдохнул это слово, и оно повисло в воздухе, лёгкое, как туман над утренней бухтой.

— Если она именно русалка, а не сирена, то тебе с ней будет хорошо. Ты же Слышащий.

Тишина. Не та, что была раньше, — спокойная, умиротворённая, — а другая: резкая, напряжённая, как струна, готовая лопнуть. Я почувствовал, как вода вокруг меня вздрогнула — едва заметно, но я почувствовал, потому что привык чувствовать её, как привыкают чувствовать биение собственного сердца, — и голоса, ещё секунду назад щебетавшие наперебой, замолкли. Все разом. Как будто кто-то захлопнул дверь.

— Эй! — раздался возмущённый шёпот, и я узнал голос молодой волны. — Мы же говорили не рассказывать ему об этом!

— Простите — прошелестел глубокий голос, и в нём было столько вины, столько сожаления, что у меня сжалось горло.

Я сел в воде — резко, так что брызги разлетелись в стороны, — и теперь не лежал, а сидел по пояс в океане, чувствуя, как песок подо мной проседает, как течение обтекает бёдра, как сердце колотится быстрее, чем секундная стрелка.

— Что это значит? — мой голос прозвучал громче, чем я планировал, и эхо отразилось от скал, вернулось ко мне искажённым, чужим. — Слышащий? Почему вы никогда не говорили мне этого слова?

Молчание. Глухое, непроницаемое, как толща воды на глубине, куда не доходит солнечный свет.

— Что это значит?! — я вскочил на ноги, и вода, потревоженная моим движением, заплескалась, зашумела, но голоса не возвращались. — Пожалуйста, расскажите! Вы не можете просто так бросить слово и замолчать! Вы всегда говорили со мной — с детства, с самого первого дня, — вы рассказывали мне истории, пели песни, смеялись надо мной и плакали вместе со мной, а теперь вы молчите? Что значит «Слышащий»? Кто я такой? Почему я слышу вас? Что вы знаете, чего не знаю я?

Тишина. Только волны накатывали на берег — мерно, равнодушно, как будто ничего не случилось, — и их ритм был пустым, лишённым голосов, лишённым музыки, и я стоял по

пояс в воде, один, как стоял всегда, но теперь одиночество было другим — не уютным, не привычным, а холодным, колючим, как ветер с севера, приносящий шторм.

— Почему?! — крикнул я в темноту, и чайки, спавшие на скалах, вспорхнули, закружились над бухтой, и их крики были единственным ответом.

Океан молчал. Впервые за много лет — с тех пор, как я перестал бояться и принял голоса как часть себя, — океан молчал, и это молчание было страшнее любого слова, страшнее любой легенды, потому что оно означало: есть вещи, которых мне не говорят, есть правда, которую от меня скрывают, есть тайна, к которой я подошёл слишком близко, сам того не зная.

Я вышел на берег — медленно, чувствуя, как песок оседает под ногами, как вода стекает с гидрокостюма, как ночной ветер холодит мокрую кожу, — и сел на камень, плоский, нагретый дневным солнцем, где я сидел в детстве, слушая истории деда, и обхватил колени руками, и долго смотрел на горизонт, где звёзды встречались с водой, и думал о том, что Скай Рамирес, возможно, знает ответы на вопросы, которые я не решался задать, — или, возможно, она сама не знает, но ответы спрятаны где-то внутри неё, как спрятаны внутри меня, как спрятаны в глубине океана, куда не добирается свет.

Слышащий. Это слово звучало во мне, пульсировало в висках, отдавалось в кончиках пальцев, и я повторял его мысленно, пробовал на вкус, как пробуют незнакомую еду, — и оно было горьким и сладким одновременно, как морская вода, которую глотаешь, когда ныряешь слишком глубоко. Я всегда знал, что я другой, — с четырёх лет, с первой волны, лизнувшей мои пятки, с первого слова, которое океан сказал мне, и я не мог понять, почему никто, кроме меня, его не слышит, но теперь у этого «другого» было имя. Не «сумасшедший», не «странный», не «невидимка». Слышащий. Тот, кто слышит, тот, кого океан выбрал — или проклял, или и то и другое сразу, — чтобы слушать его голоса до конца своих дней.

И если я Слышащий, то кто она? Если она действительно может управлять водой — пусть даже неосознанно, пусть даже сама не веря в это, — то кто она? Русалка, как говорили голоса? Или сирена? Или что-то третье, чему нет названия ни в одной легенде?

Я встал с камня, отряхнул песок с ладоней и направился к дому, чувствуя, как усталость наваливается на плечи тяжёлым грузом, но мысли всё ещё крутились, не давая покоя, и где-то в глубине сознания, там же, где звучали голоса океана, зарождалась решимость — робкая, неуверенная, но уже пустившая корни.

Я должен узнать. Должен понять, кто она. Должен разобраться, что связывает её с водой, что связывает меня с ней, и что за тайну океан скрывает от меня все эти годы.

Но сначала — сон. Потому что завтра будет новый день, и в этом дне, возможно, найдётся место для разговора, которого я избегал всё время, сам того не осознавая. А, может, и не найдётся, и я снова уйду на рассвете к воде, и голоса, если они вернуться, расскажут мне то, чего не досказали сегодня.

Я зашёл в хижину, зажёл керосиновую лампу, и её свет заплясал на стенах, на фотографии деда, на старых ракушках, собранных за годы. Доска, прислонённая к стене, мокро блестела в полумраке, и я провёл по ней ладонью — холодная, гладкая, живая. Завтра я снова выйду на воду. Завтра я, возможно, встречу её.

Глава 7. Обыкновенное волшебство

*Когда совсем немоготу, я иду к воде и говорю самое страшное.
Волна забирает и уносит. Ты смотри — уже легче. А рыбы не
пересказывают*

Скай Рамирес

Скай

— Абракадабра!

Стакан с водой, стоявший на полу в метре от меня, не шелохнулся — поверхность осталась гладкой, безучастной, как лоб профессора на скучной лекции, и только солнечный зайчик, пробившийся сквозь занавеску, скользнул по стеклу, подмигнув мне, словно издеваясь.

— Сизам!

Ничего. Вода даже не колыхнулась. Я сидела на полу в позе бабочки, скрестив ноги, уперев локти в колени, и чувствовала, как деревянные половицы нагрелись от утреннего солнца, как пахнет сандалом из мастерской Джексона, как где-то за окном кричит чайка, требующая завтрак, а стакан стоял, равнодушный ко всем моим попыткам, и вода в нём была просто водой, НО, два атома водорода, один атом кислорода, никакой магии, никакой мистики.

— Бум! — я выбросила руку вперёд, растопырив пальцы, как видела в каком-то фильме про волшебников. Стакан не взорвался, не треснул, даже не покачнулся. — Ша-а-а! Левиоса!

Тишина. Чайка за окном закричала громче, будто передразнивая, и я, выдохнув, повалилась на спину, раскинув руки, уставившись в потолок с смесью разочарования и облегчения, какая бывает, когда надеешься на чудо, но в глубине души знаешь, что его не будет. Уже минут тридцать я пытаюсь управлять водой. Нет, я не свихнулась — по крайней мере, не до конца, — просто всю ночь прокручивала в голове этот момент со спринклерами, и чем больше прокручивала, тем меньше верила в совпадения, пока наконец, где-то в три часа ночи, не села на кровати и не устала в темноту с одной-единственной мыслью:

А что, если? А что, если я действительно это сделала? А что, если вода хлынула, потому что я разозлилась, и остановилась, потому что я успокоилась? А что, если все эти годы ритм, который я слышала в океане, был не просто ритмом, а чем-то бóльшим?

Но видимо, это реально было стечение обстоятельств. Стакан не двигался, вода не бурлила, и сколько бы я ни шипела заклинаний — настоящих, выдуманных, украденных из книжек, которые я читала в детстве, — результат оставался нулевым. Я перевернулась на живот, подпёрла подбородок кулаками и устала на стакан с той обидой, с какой смотрят на друга, который подвёл в самый важный момент.

— Ладно, — сказала я ему, — ты выиграл. Но учти: если я когда-нибудь узнаю, что всё это было не совпадение, я вернусь и выпью тебя до дна. И даже сахар не добавлю.

Стакан промолчал. Я и не ждала ответа — ну, почти.

Сегодня я решила не идти в университет. Это решение пришло ко мне рано утром, когда будильник прозвенел, а я, даже не открывая глаз, нащупала кнопку и выключила его, чувствуя, как каждая клеточка тела протестует против того, чтобы снова тащиться в кампус, сидеть на лекциях, делать вид, что мне интересна термохалинная циркуляция, и избегать взглядов Гаррета, Райана, Кейт и всего остального мира, который за последние два дня превратился в какой-то цирк с моим участием. Джексон, конечно, устроил мне лекцию — за завтраком, когда я, сонная, в мятой футболке, наливала себе чай, — о том, как важно учиться, получать образование, не пропускать пары, потому что знания — это сила, и бла-бла-бла, всё то, что он говорил мне тысячу раз и что я тысячу раз пропускала мимо ушей.

— Ты же сам бросил колледж, — заметила я, откусывая тост.

— И поэтому я режу фигурки из дерева за копейки, — парировал он, не оборачиваясь от плиты, где жарил яичницу, — а ты хочешь резать фигурки за копейки?

— Я хочу серфить.

— Серфинг — это прекрасно, но серфинг не прокормит тебя, когда тебе будет сорок и колени откажут. Учись, Скай. Хотя бы иногда.

Я пообещала, что подумаю над этим, и он, кажется, удовлетворился, хотя по его взгляду, брошенному через плечо, я поняла, что он не поверил ни единому моему слову. Джексон всегда читал меня, как открытую книгу, может, потому что сам когда-то был такой же, а может, потому что сам меня вырастил и знал каждую страницу наизусть.

И раз я всё равно осталась дома, стоило хотя бы помочь в деревне с чем-нибудь полезным. Не сидеть же целый день, гипнотизируя стакан с водой, — это, конечно, увлекательное занятие, но не самое продуктивное. Я натянула джинсы, футболку, сунула ноги в конверсы и вышла на улицу, где утреннее солнце уже золотило крыши Ковилла, а воздух пах солью, эвкалиптом и свежей выпечкой из «Солёного тюленя».

Главная улица встретила меня привычной тишиной — негородской тишиной, которая на самом деле полна звуков: ветер шумит в кронах, доски причала поскрипывают, кто-то стучит молотком в мастерской, и океан дышит где-то внизу, под обрывом, размеренно, ритмично, как всегда. Я направилась к «Солёному тюленю» — если кому и нужна помощь, то в первую очередь Мариссе, которая вечно носилась со своими кастрюлями, как белка с орехами, и никогда не отказывалась от лишних рук.

Дверь кафе звякнула колокольчиком, и Марисса, стоявшая за стойкой и протиравшая стаканы, подняла голову, и её лицо, покрасневшее от жара плиты, расплылось в улыбке.

— Скай! А я думала, ты в своём университете, гранит науки грызёшь! — она отложила полотенце, уперев руки в бока, и её фартук, вечно испачканный мукой, сегодня был украшен ещё и пятном от черничного варенья. — Решила прогулять?

— Решила взять выходной, — поправила я, усаживаясь за стойку, — у вас есть чем помочь? Могу посуду помыть, или картошку почистить, или пол подмести. Я сегодня в благотворительном настроении.

— В благотворительном? — Марисса фыркнула. — Это после того, как ты вчера устроила потоп в кампусе? Мне Финн рассказал, ему внучка позвонила, она там учится, говорит, весь коридор был залит, а ты стояла посреди лужи и смеялась.

— Не смеялась, — возразила я, хотя это было не совсем правдой, — просто улыбалась. И это не я устроила потоп, это спринклеры. Старая проводка. Или скачок напряжения. Или кто-то курил в туалете.

— Ну да, ну да, — Марисса подмигнула мне с тем выражением, которое означало: «я знаю, что ты что-то скрываешь, но не буду допытываться», — ладно, раз ты в благотворительном настроении, иди к Финну. Он вчера жаловался, что у него сети порвались, а старые руки уже не те. Поможешь ему — и мне спасибо скажешь, а то он уже третий день ходит и ноет, что улов уходит.

Я кивнула, спрыгнула с табурета и, чмокнув Мариссу в щёку, пахнущую ванилью и корицей, вышла из кафе, снова оказавшись в утреннем свете, который теперь стал ярче, золотистее, и тени от домов легли на дорогу ровными квадратами. Причал, где обычно работал Финн, находился в пяти минутах ходьбы — там, где берег делал изгиб и где старые лодки, вытасканные на песок, лежали, как уснувшие рыбы, боками к солнцу.

Финн сидел на перевернутом ящике, склонившись над кучей сетей, и его пальцы, узловатые, коричневые от загара и времени, перебирали верёвки с той медленной, почти торжественной тщательностью, с какой перебирают чётки. Рядом с ним стоял термос, из которого пахло крепким чаем, и лежала жестянка с табаком, придавленная камешком, чтобы не унесло ветром.

— Доброе утро, Финн, — я подошла, присев на корточки рядом с ним, и он поднял глаза — выцветшие, как старое небо, — и хмыкнул в усы.

— Рамирес, — сказал он, и в его голосе не было ни удивления, ни вопроса, только констатация факта, — явилась, не запылилась. Слышал, ты вчера в кампусе шороху навела. Говорят, Шедди до сих пор сохнет.

— Он сам виноват, — ответила я, беря в руки край сети и разглядывая дыру, зиявшую в ней, как беззубый рот, — что чинить, показывай.

Финн кивнул на моток верёвки, лежавший у его ног, и принялся объяснять — медленно, обстоятельно, как объясняют только старые рыбаки, для которых сеть была не просто инструментом, а почти живым существом, требующим уважения, — и я слушала, вплетая нити в ячейки, чувствуя, как грубая верёвка трёт пальцы, как солнце припекает затылок, как время замедляется, становясь густым и тягучим, как патока, и в этом замедлении было что-то правильное, что-то, чего не хватало в университете, на тренировках, в бесконечной гонке за волнами.

Мы работали молча — только чайки кричали, только волны шуршали, только ветер трепал мои волосы, выбившиеся из хвоста, — и где-то посреди этой работы, когда мои пальцы уже запомнили узор, а спина начала ныть от неудобной позы, я поймала себя на мысли, что сегодня — хороший день.

Несмотря на бессонную ночь, несмотря на провалившиеся эксперименты со стаканом, несмотря на вчерашние стычки и недосказанности, сегодня был хороший день, и я была благодарна ему за это — тихо, без слов, просто сидя на корточках у старого причала и чиня чужую сеть, как чинили её до меня десятки других рук, таких же загорелых, таких же молодых, таких же ищущих что-то, чему нет названия.

Мы закончили через несколько часов, когда солнце перевалило за полдень и тени от лодок стали короткими, как обрубки. Финн кряхтя поднялся, разминая спину, и оглядел нашу работу — сеть лежала на песке, залатанная, крепкая, готовая снова уйти в воду.

— Ну вот, другое дело, — он хлопнул меня по плечу, и его ладонь была тяжёлой, как лопата, — спасибо, Рамирес. Руки у тебя не только для доски годятся.

Я хотела ответить что-то в том же духе — про старые ворчливые рыбы кости, например, — но не успела, потому что со стороны деревни раздался топот, визг и звонкие голоса, и через несколько секунд нас окружила стайка мальков, тех самых, что сидели у костра и слушали легенды Томаса. Человек пять, не больше, но шуму от них было как от целого выводка чаек.

— Скай! Скай! — рыжая девчушка, что спрашивала про русалок, дёргала меня за край футболки, и её глаза горели тем особым огнём, какой бывает только у детей, узнавших что-то невероятное. — А правда, что ты вчера в университете устроила водопад и этот противный Майло уплыл по коридору, как медуза?

— Не уплыл, — я покачала головой, — он просто поскользнулся и сел в лужу.

— А нам сказали, что ты вызвала цунами прямо в здании! — подхватил мальчишка с облупленным носом. — И что ты теперь волшебница!

— Никакая я не волшебница, — я потрепала его по макушке, и волосы у него были жёсткими от соли, — просто старая проводка. И скачок напряжения. И кто-то курил в туалете. Всё скучно, ничего волшебного.

— А когда ты снова будешь соревноваться? — влез третий, самый маленький, шмыгая носом. — Мы смотрели тебя по телику у Марко! Ты была крутая! А Гаррет Уайлд злой был, как акула!

— Скоро буду. А Гаррет всегда злой, это его обычное лицо.

Мальки захихикали, и я уже собиралась придумать им какое-нибудь занятие — может, отправить их собирать ракушки или считать чаек, — но тут со стороны Главной улицы показался Хершел Мигль, местный фермер, чьи коровы были единственными на всё побережье и

чьи усы были такими пышными, что в них, кажется, могли бы жить мелкие птицы. Он тяжело дышал, его рубашка прилипла к спине, и он махал рукой так, будто вызывал спасателей.

— Скай! Идём, нужна твоя помощь!

Я вскочила на ноги, отряхивая песок с коленей.

— Иду! Ну, малышки, — я повернулась к детворе, которая уже открыла рты, чтобы увязаться за мной, — поразвлекайте Финна, а я пойду. Расскажите ему про водопад, он любит такие истории.

Финн бросил на меня взгляд, полный обречённости, но я уже бежала к Хершелу, чувствуя, как ветер бьёт в лицо, как волосы выбиваются из хвоста, как конверсы стучат по утоптанной дорожке, ведущей к ферме.

— Здравствуйте, дядя Хершел, — выдохнула я, поравнявшись с ним.

— Здравствуй, здравствуй, — он приложил ладонь к груди, переводя дыхание, и его усы вздымались и опускались, как волны в шторм, — в общем, нужно помочь перетаскать вёдра, наполнить их водой. Коровки уже с дуру сходят от жажды, а у меня спина с утра прихватила, не могу таскать. Поможешь?

— Конечно, — я кивнула, сворачивая к коровнику, и запах сена, навоза и парного молока ударил в нос, густой, тёплый, почти осязаемый. Коровы — Хлоя, Жасмин, Луаретта, Мишель и Марта — стояли в стойлах, переступая с ноги на ногу, и мычали с тем особым выражением, какое бывает у тех, кто очень хочет пить, но не может об этом сказать словами.

— Привет, телочки, — я погладила Марту по влажному носу, и она выдохнула мне в ладонь горячим дыханием, — жаждой моритесь? Ну ничего-ничего, сейчас принесу вам попить.

Я взяла пять пустых железных вёдер — они звякнули друг о друга звуком, который намертво связан в моей памяти с детством, с поручениями от соседей, с летними днями, когда я, ещё не достававшая до крана, таскала воду для чьего-нибудь огорода, — и понесла их к колонке, что стояла на углу фермы, у забора, увитого диким виноградом. Вёдра звенели на все лады, и местные жители, попадавшиеся мне навстречу, приветственно махали руками, подкалывая, как обычно, потому что в Ковилле никто не мог пройти мимо, не отпустив шутку.

— Рамирес, ты теперь не только на доске, но и с вёдрами чемпионка? — крикнул Марко, стоявший у дверей своего магазинчика.

— Золотая медаль по водоснабжению! — подхватила миссис Олсен, поливавшая петунии у крыльца.

Я показала им язык и пошла дальше, звеня вёдрами, как бродячий оркестр.

У колонки я поставила вёдра на землю, покрутила кран, и вода побежала — сначала рывками, фыркая воздухом, потом ровно, спокойно, наполняя первое ведро. Я отнесла его Марте — она, как самая старшая, всегда получала первой, — потом сходила ещё, и ещё, и ещё, и с каждым заходом мои руки наливались усталостью, а футболка прилипала к спине от пота, но это была хорошая усталость, честная, простая, та, что приходит после работы, а не после бессмысленной гонки за несуществующими способностями.

Когда осталось последнее ведро, я уже почти не чувствовала пальцев, но продолжала звенеть ручкой о край, шагая к колонке, и мысли мои были далеко — где-то между вчерашним потопом и сегодняшним утренним стаканом, — и поэтому я не заметила, как положила ладонь на вентиль. Вода ударила с такой мощью, словно кто-то открыл пожарный гидрант, — ледяная, хлёткая, она вырвалась из крана фонтаном и окатила меня с ног до головы, залив конверсы, джинсы, футболку, волосы, и я, задохнувшись от неожиданности, рванулась к вентилю, чтобы ослабить напор, но стоило мне прикоснуться к нему, как кран с треском отлетел, ударился о стену колонки и упал в траву, а вода хлынула во все стороны — вверх, вбок, вниз, — брызгая, шипя, заливая дорожку, забор, мои многострадальные конверсы.

— Да боже, хватит!

И вода остановилась. Не постепенно, не затихая, а разом — как будто кто-то закрыл невидимый шлюз где-то глубоко под землёй. Последние капли упали с крана в наступившую тишину, и я осталась стоять посреди лужи, мокрая насквозь, с прилипшими к щекам волосами и сердцем, колотившимся где-то в горле.

Так. Стоп. Не думать, не думать, не думать. Первый раз — совпадение, второй раз — случай, а третий раз — уже наверняка. Пока второй раз!

Я схватила отлетевший кран, прикрутила его обратно трясущимися пальцами и медленно, осторожно, затаив дыхание, повернула вентиль. Вода потекла — тихо, мирно, как ни в чём не бывало, — и я выдохнула, привалившись спиной к колонке.

— Какое-то сумасшествие, — прошептала я, выключая воду, и наполнила последнее ведро, стараясь не думать о том, что только что произошло, не анализировать, не связывать факты, не строить теорий, от которых утром у меня уже голова шла кругом.

В коровнике Хлоя, последняя из телочек, смотрела на меня большими влажными глазами, и в её взгляде мне почудилось что-то вроде понимания, хотя коровы вряд ли разбираются в магии, даже если эта магия — просто совпадение.

— Что? — я поставила ведро перед ней, уперев руки в бока. — Несчастный случай.пей давай.

И она принялась пить — долго, основательно, — а я, помедлив ещё секунду, уже не выдержала, развернулась и рванула к дому. Через Главную улицу, мимо «Солёного тюленя», где Марисса что-то крикнула мне вслед, но я не расслышала, я бежала, и мокрые конверсы хлюпали на все лады, а вода всё ещё капала с волос, оставляя на пыльной дороге тёмные пятна.

Забегала в дом, захлопнула дверь, повернула замок — резко, до щелчка, — и прильнула к стакану, что до сих пор стоял на полу, равнодушный, неподвижный, с водой, которая за несколько часов даже не испарилась.

— Так, чёртова вода! — я ткнула пальцем в стекло, и мой голос, срывающийся, полубезумный, заметался по комнате, — ты либо издеваешься надо мной, либо просто... просто не знаю! Короче, если ты повинешься мне, так повинуйся нормально! Не устраивай цирк при посторонних, не заливай меня с ног до головы, не срывай краны, а просто — слушайся! Как вчера! Как как тогда, когда я хотела ударить Майло!

Я выпрямилась, откинула мокрые волосы с лица и встала посреди комнаты, топчась на месте, собираясь с силами, как перед стартом.

— Так, ну давай.

Я вздёрнула руки, потопталась ещё немного, разминая запястья, встряхнула пальцами, как видела в фильмах про экстрасенсов, и выбросила одну руку вперёд, целясь в стакан:

— Абракадабра!

Ноль реакции. Вода даже не колыхнулась. Я застонала, топчась на месте, и мой стон был полон такого искреннего, такого глубокого разочарования, что чайка за окном, та самая, что вечно орала по утрам, ответила мне сочувственным криком.

— Ну какого хрена? — я рухнула на колени перед стаканом, заглядывая в него, как в хрустальный шар. — Я уверена, ты издеваешься надо мной! Смешно тебе, да? Смешно? Смотри, как она скачет, заклинания выкрикивает, руками машет — вот умора! — я передразнила воображаемую воду, и мой голос стал писклявым, карикатурным. — Учти, грёбаная водичка, я тебя когда-нибудь приструню! Я не знаю как, но приструню! Ты у меня попляшешь! Будешь течь по расписанию и только туда, куда я скажу!

Стакан молчал. Вода в нём была спокойной, прозрачной, и в её поверхности отражалось моё лицо — мокрое, покрасневшее, с прилипшими ко лбу волосами и родинкой-звездой под левым глазом, которая, казалось, подмигивала мне, хотя я точно знала, что родинки не умеют подмигивать.

Я вздохнула, села на пятки, обхватила колени руками и долго смотрела на воду, а вода смотрела на меня, и в этой безмолвной дуэли не было победителя.

Может, я не волшебница. Может, никакой магии нет, а есть только я, мой гнев, мой страх, моё упрямство — и вода, которая почему-то на это отзывается, но не тогда, когда я её прошу, а когда я перестаю просить и начинаю просто быть. Может, секрет не в заклинаниях. Может, секрет в чём-то другом, чему я пока не знаю названия. Но я узнаю. Обязательно узнаю. Даже если для этого придётся переломать все краны в Ковилле.

Вечер накрыл Ковилл золотисто-синим сумраком, какой бывает только в августе, когда солнце уже ушло за горизонт, но небо ещё помнит его тепло и не хочет отпускать, и я сидела на кровати, скрестив ноги, всё ещё глядя на стакан с водой — мой безмолвный, неподвижный, абсолютно равнодушный соперник, — когда в дверь постучали. Не громко, не требовательно, а тем особым стуком, который я узнала бы из тысячи: три коротких удара костяшками, потом пауза, потом ещё один, как будто спрашивающий разрешения.

Я вскочила, перешагнула через стакан, пересекла комнату в три шага и открыла дверь. Джексон стоял на пороге — всё ещё в рабочей рубашке, пропахшей деревом и лаком, и в его волосах, как всегда, застряла щепка, крошечная, едва заметная, но я заметила, потому что замечала её каждый вечер вот уже много лет.

— Привет, — он опёрся плечом о дверной косяк, и его глаза, усталые после долгого дня, всё равно смотрели на меня с той теплотой, которая никогда не зависела от усталости, — пойдём поедим у Мариссы?

— Привет! — я улынулась, чувствуя, как напряжение этого безумного дня — коровы, ведра, кран, стакан, — понемногу отпускает при одном только звуке его голоса. — Пойдём, конечно.

Мы вышли на улицу. Я уже успела переодеться после своих водных приключений — сухие джинсы, чистая футболка, волосы всё ещё влажные после мытья, но уже не мокрые, — и вечерний воздух, пахнувший солью и эвкалиптом, обнял плечи, лёг на кожу, как прохладный шёлк. Мы зашагали по Главной улице, и наши шаги звучали в унисон, как звучали всегда, и где-то впереди уже горели окна «Солёного тюленя», обещая пирог, какао и привычный гул голосов.

— Как дела на работе? — спросила я, когда мы миновали причал, где последняя лодка, привязанная к столбу, тихо покачивалась на волнах.

Джексон вздохнул, и в этом вздохе была вся тяжесть дня, который не задался с самого начала.

— Сегодня был довольно шумный клиент. Ему ни одна работа не нравилась, не знал, что с ним делать. Разгромил мою полку, поломались фигурки, пришлось заново всё делать.

Я остановилась прямо посреди дороги, и мои руки сами собой упёрлись в бока.

— Вот же урод! Дядя, тебе нужно быть жёстче! Выставлять таких за дверь, а не уговаривать!

— Ну как же, — он пожал плечами, и его усы дрогнули в неуверенной полуулыбке, которая всегда появлялась, когда он пытался оправдаться, — я же так всех клиентов потеряю. Ковилл маленький, слухи расходятся быстро. Один недовольный — и ко мне перестанут ходить.

— Клиенты выбирают тебя по твоим способностям, а не по характеру, — я возобновила шаг, и он пошёл рядом, слушая меня с тем вниманием, с каким всегда слушал мои разглагольствования, даже если считал их детскими, — ты не пробовал найти какого-нибудь крупного заказчика? У тебя же такие красивые работы! Галерея в Санта-Крузе, или в Сан-Франциско, или даже в Лос-Анджелесе — туристы сходят с ума по таким вещам, ручная работа, дерево, океанская тематика, это же золотая жила!

— Тяжело найти тех, кто любит деревянную резню, — он покачал головой, и в его голосе звучала не горечь, а просто констатация факта, когда он говорил о всём, что касалось его ремесла, — сейчас всем подавай пластик, металл, стекло. Дерево считается старомодным.

— А ты попробуй! — я толкнула его плечом, легонько, ободряюще. — Сделай пару фотографий, выложи в интернет, найди галерею. Глядишь, и деньги рекой потекут, и клиенты перестанут крушить твои полки.

Дверь «Солёного тюленя» звякнула колокольчиком, и мы вошли внутрь, в тепло, в запах жареного лука и свежей выпечки, в жёлтый свет ламп, которые Марисса всегда зажигала с наступлением сумерек, потому что ненавидела верхний неон и говорила, что от него у неё болят глаза. Мы сели за наш привычный столик у окна, откуда был виден кусочек океана между двумя эвкалиптами, и Марисса, заметив нас, тут же направилась к нам, вытирая руки о передник.

— Что будешь, детка? — она улыбнулась мне, и от её улыбки веяло тем же теплом, что от её пирогов.

— Я буду пирог и молочный коктейль!

— Привет, Джек, — она повернулась к дяде, и её голос изменился — стал чуть строже, чуть заботливее, с интонацией, с какой говорят люди, знающие друг друга не первый десяток лет.

— Привет, Марисса.

— Что будешь?

— Мне пиво и бургер, — он откинулся на спинку стула.

Марисса скрестила руки на груди, и её взгляд стал таким, который я называла про себя «материнским артобстрелом».

— Ты бы поберёг свою печень, Джек. Пиво каждый вечер — это не шутки.

— За мою печень не беспокойся, она у меня крепкая, — Джексон улыбнулся той улыбкой, которая когда-то, наверное, покоряла сердца всех девушек в Ковилле, а теперь была направлена исключительно на Мариссу, и та, закатив глаза, сдалась.

— Минут двадцать, и всё будет готово.

— Спасибо, — он проводил её взглядом, всё ещё улыбаясь, а я, подперев щеку кулаком, смотрела на него с особым прищуром, который обычно предвещал неудобные вопросы.

— Дядя, — начала я, растягивая слово, как жвачку, — а почему ты не рассмотришь Мариссу как свою жену?

Он поперхнулся воздухом, закашлялся, и его глаза, устремлённые на меня, выражали ту особую смесь изумления и обречённости, какая бывает у людей, которым внезапно напомнили о том, о чём они предпочли бы забыть.

— Это слишком проблемная женщина, знаешь ли, — ответил он, откашлявшись, — она меня задушит своей заботой. Сначала печень, потом желудок, потом она доберётся до моих привычек, до моей мастерской, до моего графика, и я превращусь в того старика, который по расписанию пьёт чай и ложится спать в девять вечера.

— Да здравствует матриархат, — я подняла воображаемый бокал и отсалютовала ему.

Он хмыкнул, качая головой, и по его лицу пробежала тень — не грусти, а скорее задумчивости, которая появляется, когда кто-то попадает в точку, но ты не хочешь этого признавать.

— Чем занималась весь день? — спросил он, меняя тему с той неуклюжестью, которая была свойственна всем мужчинам, не умеющим говорить о чувствах.

— Помогала Финну с сетями, потом Хершелу с коровами. Воду таскала, ведрами гремела на всю деревню.

— Молодец, — он одобрительно кивнул, — хоть не лентяйничала.

— Дядя, я компенсирую одно другим: если я прогуливаю университет, я отрабатываю это физическим трудом. Таков закон вселенной. Или мой личный закон. Я ещё не определилась.

— А я думал, ты будешь весь день на океане, — заметил он, и в его голосе проскользнуло любопытство, лёгкое, почти незаметное, но я его заметила, потому что слишком хорошо его знала.

Я хмыкнула, опуская взгляд на стол, где мои пальцы вычерчивали невидимые узоры на деревянной столешнице.

Ага, конечно. У меня было одно важное дело — научиться управлять чёртовой водой, но об этом я точно не собиралась рассказывать ни ему, ни кому-либо ещё. По крайней мере, пока сама не разберусь, что происходит.

— Ты уже надумала, как будешь отмечать свой день рождения? — спросил он, и этот вопрос прозвучал так неожиданно, так не в тему моих мыслей о магии и кранах, что я моргнула, возвращаясь в реальность. — Позовёшь друзей?

Я подняла глаза, и, наверное, в них было что-то такое, что заставило его замолчать на полуслове.

— Увы, дядя, у меня нет друзей.

— Как так? — он нахмурился, и его брови, седые, кустистые, сдвинулись к переносице, как сдвигались всегда, когда он сталкивался с чем-то, что не укладывалось в его картину мира. — Ты же красивая, весёлая девушка, как у тебя может не быть друзей?

— Для всех я чудачка из Ковилла, которая любит рассекать океан на доске, — я пожала плечами, и это пожатие вышло слишком небрежным, слишком нарочитым, — и которая вчера устроила потоп в кампусе. Знаешь, это не очень способствует социализации.

Он помолчал, вертя в пальцах салфетку, и его глаза, цвета выцветшей бирюзы, смотрели на меня с той пронизательностью, от которой невозможно было спрятаться.

— И тебе... не одиноко?

— А должно? — я склонила голову набок, и этот жест, наверное, выглядел вызывающе, но я не хотела, чтобы он жалел меня, не хотела, чтобы он думал, что мне чего-то не хватает, потому что мне действительно ничего не хватало — ну, почти ничего.

— В нашем мире тяжело без друзей, Скай, — он отложил салфетку и подался вперёд, опираясь локтями на стол, — хорошо, когда есть тот, кому можно доверить свои секреты и поделиться тем, чем не можешь поделиться с родными. Не потому что не хочешь, а потому что некоторые вещи могут понять только сверстники.

— У меня есть ты, — сказала я, и это была правда, чистая и простая, как вода в том стакане, который до сих пор ждал меня дома, — и если так посмотреть, то в моём университете одни придурки. Все либо думают о деньгах, либо о сексе, либо о выгоде, либо обо всём сразу. Лучше уж одной, чем в такой компании.

— Когда-нибудь ты поймёшь, что нет ничего лучше настоящей дружбы, — он улыбнулся, но улыбка вышла грустной.

— Ещё скажи и любви между парнем и девушкой, — я закатила глаза, но без злости, скорее по привычке.

— В точку.

— Бе-е-е-е, — я показала ему язык, совсем как в детстве, когда он рассказывал мне легенды, а я спорила с ним о том, могут ли русалки ходить по суше. — Я буду жить одна в старом домике на берегу океана с десятью кошками и одной собачкой. Буду на старости лет рассекать океан и умру там же, на доске, в девяносто пять лет, и волны унесут меня в закат.

— Какой оптимизм, — он фыркнул, и его усы дрогнули.

— Это моя мечта, — я пожала плечами, но теперь в этом пожатии не было небрежности, была только та спокойная уверенность, которая приходит, когда ты знаешь, чего хочешь, даже если весь мир считает это глупостью.

— Дурёха, — сказал он тихо, и в этом «дурёха» было столько нежности, столько заботы, столько всего невысказанного, что у меня на секунду защемило в глазах, но я сморгнула, и

всё прошло. — Ладно, значит, как всегда: в этом месте, позовём Мариссу, Марко и Финна. Скромно, по-семейному.

— Разве не здорово? — спросила я, и мой голос прозвучал так искренне, что он, кажется, наконец поверил: мне действительно хорошо. Несмотря на отсутствие друзей, несмотря на странности с водой, несмотря на всё, что случилось за эти два дня, — мне хорошо.

— Здорово, — согласился он, и в этот момент Марисса принесла наш заказ — пирог, источавший аромат лимона и сахарной пудры, молочный коктейль с высокой шапкой взбитых сливок, бургер, от которого поднимался пар, и кружку пива, которую она поставила перед Джексоном с выражением, которое говорило: *«Я всё равно не одобряю, но ты взрослый человек»*. И мы ели, и разговаривали о пустяках, и за окном темнело, и океан дышал где-то внизу, под обрывом, а я думала о том, что, возможно, настоящая магия — это не умение управлять водой, а умение ценить такие вот вечера, когда всё просто и всё правильно, и никто никуда не спешит, и завтра будет новый день, в котором я, может быть, наконец разгадаю загадку чёртовой водички — или просто вернусь к стакану и попробую снова.

Глава 8. Тишина глубины

*Хочешь узнать человека — вези его
в море. Кто на берегу храбрый — в
волну первую же поблднеет. А кто
тихий — глядишь, и бурю проведёт.*

Райан Брукс

Райан

Я проснулся рано — ещё до рассвета, когда небо только начинало сереть, а звёзды, ещё не погасшие, висели над горизонтом, как капли воды на стекле, дрожащие, готовые вот-вот сорваться вниз, — и первое, что я почувствовал, была тишина. Не та тишина, что бывает в доме, когда все спят, не та, что наступает после шторма, когда ветер стихает и океан зализывает раны, — а другая, глубокая, внутренняя, как будто кто-то выключил звук во мне самом, и всё, что я слышал, это биение собственного сердца, одинокое, гулкое, отчаянное.

Океан молчал. Два дня. Все ночи, пока я ворочался на кровати, глядя в потолок, на котором тени от эвкалиптовых веток рисовали причудливые узоры, пока я прокручивал в голове обрывки вчерашнего разговора — «Слышащий», «русалки могут», «мы не можем рассказать», — океан не сказал мне ни слова, и эта тишина была страшнее любого шторма, страшнее любой легенды, страшнее всего, что я когда-либо испытывал. Я лежал и вспоминал, как в детстве, когда мне было десять и я впервые осознал, что отличаюсь от других, я точно так же лежал без сна и слушал тишину, но тогда голоса возвращались — сначала робко, потом всё увереннее, а теперь их не было, и внутри меня разрасталась чёрная дыра, которая засасывала все мысли, все чувства, все воспоминания, оставляя только страх.

Я встал, не зажигая лампу, не заваривая чай, не делая ничего из того, что обычно составляло мой утренний ритуал, — натянул джинсы, футболку, сунул ноги в шлёпанцы и вышел из хижины в предрассветный сумрак. Тропинка, петлявшая между эвкалиптами, была влажной от росы, и мои шаги оставляли на ней тёмные следы, но я не замечал этого — я шёл, ведомый единственной мыслью, которая билась в висках, как пульс, как барабан, как набат: «*Пожалуйста, не оставляй меня. Пожалуйста, ответь*». Я не собирался донимать его вопросами, не собирался требовать ответов, на которые он не хотел отвечать, не собирался снова поднимать тему Слышащего, русалок, сирен и всего того, что всплыло вчера и разбило мой хрупкий мир на осколки, — я просто хотел услышать хоть что-то, хоть шёпот, хоть намёк на присутствие, хоть ту самую радостную переключку голосов, которая встречала меня каждое утро с четырёх лет, с того самого дня, когда мать впервые привезла меня на этот берег и океан сказал мне: «*Привет, Райан*».

Берег открылся передо мной внезапно — серая полоса песка, тёмная вода, сливавшаяся с небом у горизонта, и ни звука. Волны накатывали на берег, как накатывали всегда, мерно, ритмично, но в их плеске не было голосов, не было музыки, не было ничего, кроме шума воды, обычного шума, который слышат все, — и от этой обычности мне стало жутко, потому что я отвык от неё, я забыл, каково это — быть как все, слышать только шум и ничего больше. Я замедлил шаг, чувствуя, как паника липкая, холодная, что поднимается от живота к горлу, сжимает его, мешает дышать, накрывает меня с головой, и мои колени подогнулись сами собой, и я упал на песок у самой кромки воды, чувствуя, как холодная вода лижет мои ладони, мои запястья, мои колени, но не говорит ни слова, ни единого слова, ни единого намёка на то, что она живая.

— Простите меня, — прошептал я, и мой голос, сорванный, хриплый, прозвучал в тишине так жалко, что мне самому стало тошно, — я не буду больше задавать вопросов, на которые вы не хотите отвечать, только пожалуйста, не бросайте меня.

Ответа не было. Волна отступила, унося с собой песок из-под моих пальцев, и вернулась снова — равнодушная, немая, чужая, — и я почувствовал, как внутри меня что-то ломается, что-то, что держало меня на плаву все эти годы, когда я думал, что я один, но океан был со мной, а теперь океан ушёл, и я остался по-настоящему один, впервые за много лет, и это одиночество было невыносимым.

— Вы обиделись? — мой голос поднялся, стал громче, отчаяннее, и я сам не узнавал его, он звучал как голос другого человека, слабого, сломленного, потерянного. — Прошу вас! Пожалуйста, простите меня, скажите хоть что-нибудь!

Тишина. Только чайка, сидевшая на скале, посмотрела на меня с тем выражением, какое бывает у птиц, когда они видят что-то непонятное и не знают, стоит ли этого бояться. Она наклонила голову, моргнула, потом отвернулась и начала чистить перья — равнодушная, как океан, как небо, как всё вокруг.

— Пожалуйста, океан! — я кричал уже в полный голос, и эхо разносило мой крик над бухтой, над скалами, над эвкалиптами, но ответа не было, и вода всё так же накатывала на берег, равнодушная, безучастная, как будто я был не Слышащим, а просто парнем, который стоит на коленях в песке и разговаривает с пустотой. — Я не могу без тебя! Ты слышишь?! Не могу!

И тут я вспомнил деда. Не просто вспомнил — увидел его, как живого, на этом самом берегу, много лет назад, когда я был ещё ребёнком и впервые испугался своего дара, и он сидел рядом со мной на камне, и его глаза, выцветшие, как старое небо, смотрели на горизонт с той тоской, которую я тогда не понимал, а теперь понял слишком хорошо. *«Я перестал слышать, — сказал он тогда, и его голос был тихим, как шёпот волн на отмели, — или он перестал со мной говорить — не знаю. Но я жалел об этом каждый день. Каждый божий день я ходил на берег и слушал, но слышал только шум. А это не одно и то же. Совсем не одно и то же».* Он перестал слышать. Он потерял океан. И теперь океан уходил от меня не потому, что я его отверг, как дед, а потому, что я спросил то, чего спрашивать не следовало, заглянул в глубину, куда заглядывать не стоило, и потревожил древние тайны, которые спали на дне тысячелетиями.

— Нет... нет, нет, нет! — я вскочил на ноги, и песок посыпался с моих колен, и мои руки, сжатые в кулаки, дрожали, и я сам дрожал, как в лихорадке, как в ознобе, хотя утро было тёплым. — Я же не отказывался от вас! Я просто хотел знать правду! Но если вы не хотите рассказывать её, я не буду просить! Пожалуйста у меня больше никого нет, кроме тебя, океан..

Тишина. Полная, глубокая, как толща воды, в которой тонет всё — и слова, и надежды, и страх. Я стоял, глядя на горизонт, и горизонт был пуст, и океан был пуст, и я сам был пуст, как раковина, из которой ушла жизнь и остался только хрупкий известковый остов, готовый рассыпаться от малейшего прикосновения.

И тогда я побежал. Не знаю, зачем, — тело решило раньше, чем разум, инстинкт взял верх над рассудком, — я развернулся и побежал обратно по тропинке, через эвкалипты, через заросли дикого винограда, мимо хижины, прямо внутрь, схватил доску, прислонённую к стене, на которой я катался вчера, которую дед подарил мне на шестнадцатилетие, и рванул обратно к берегу, и мои босые ноги хлопали по влажной траве, по песку, а потом по воде, потому что я не остановился, я вбежал в океан с разбегу, подняв тучу брызг, бросился на доску и начал грести — яростно, отчаянно, как будто от этого зависела моя жизнь, и, возможно, так оно и было.

Волна поднялась из глубины — большая, тёмная, с белым гребешком пены, одна из тех, что приходят на рассвете, когда океан ещё не проснулся окончательно, но уже начинает потягиваться, пробовать мускулы, разминаться перед долгим днём, — и я развернул доску, лёг

на неё, загрёб, чувствуя, как скорость нарастает, как вода поднимает меня всё выше и выше, как доска вибрирует под ногами, и встал на неё во весь рост, входя в трубу, в самое сердце волны, где обычно голоса звучали громче всего, где они подсказывали мне, куда повернуть, где ускориться, где замедлиться, — но сейчас в ушах была только тишина. Никто не шептал мне, как брать волну, никто не предупреждал о перепаде, никто не смеялся, не пел, не окликал по имени, — и я, привыкший полагаться на голоса, на их подсказки, на их музыку, вдруг оказался слепым, глухим, беспомощным, как человек, который всю жизнь ходил с поводырём и вдруг остался один в темноте. Доска подо мной, лишённая диалога, лишённая той незримой связи, которая соединяла меня с океаном, стала просто деревом и стекловолокном, мёртвым грузом, который не слушался, не отзывался, не жил, — и я потерял равновесие, потерял себя, потерял всё, как и вчера на тренировке, но думал, что это из-за того, что был потрясен молчанием океана.

Труба обрушилась — не на меня, а вместе со мной, — и меня закрутило, завертело, швырнуло в темноту, и вода была везде: в ушах, в носу, во рту, в лёгких, — и я не знал, где верх, где низ, где воздух, где смерть, и мои руки хватались за пустоту, а ноги били по воде, но это не помогало, и я начал захлёбываться, и солёная вода заполнила горло, где-то на границе сознания мелькнула мысль: *«Вот так. Вот так это кончится. В тишине. Как дед. Как все, кто потерял связь и не смог вернуть»*. Лёгкие горели, перед глазами плыли цветные пятна — красные, зелёные, золотые, — и моё тело, измученное борьбой, начало обмякать, и я уже почти сдался, почти отпустил, почти позволил океану забрать меня, потому что без голосов, без музыки, без этого вечного шёпота в голове жизнь не имела смысла, и я не хотел жить в тишине, как жил дед, — не хотел каждый день приходить на берег и слышать только шум, только ветер, только крики чаек.

— Райан!

Голос. Один-единственный голос — глубокий, древний, тот, что шёл из самого сердца океана, из жёлоба на дне, где вода была холодной и старой, где покоились кости кораблей и шёпоты утонувших моряков, — и он прозвучал так громко, так отчётливо, что перекрыл шум воды, шум моей крови, шум моей паники, и вслед за голосом пришла волна — не та, что душила, не та, что крутила, а другая, мягкая, но сильная, как руки матери, подхватывающие падающего ребёнка, — и она вытолкнула меня на поверхность, к воздуху, к свету, к жизни.

Я вынырнул, задыхаясь, кашляя, выплёвывая воду, мои лёгкие горели огнём, а глаза щипало от соли, и каждый вдох был как нож, вонзающийся в грудь, но я был жив, я дышал, небо надо мной было бледно-розовым от рассвета, и волны, ещё минуту назад враждебные, безжалостные, теперь мягко покачивали меня, не давая уйти под воду снова, как заботливые руки, которые поддерживают, но не держат. Доска плавала в нескольких метрах от меня — я поплыл к ней, преодолевая сопротивление воды, чувствуя, как мышцы ноют, как суставы скрипят, и взобрался на неё с трудом, как старик, как человек, который только что заглянул в лицо смерти и не хочет больше никогда туда заглядывать. Я лёг на живот, вцепился пальцами в края доски и замер, чувствуя, как сердце колотится о рёбра, как солёная вода стекает с волос на лицо, смешиваясь со слезами, которых я не стыдился, как дрожат руки, сжимающие доску, как дрожит всё тело, от макушки до пяток, и этот дрожь была не от холода, а от того, что я только что едва не умер — и только что заново родился.

— Райан, прости нас, что мы не отвечали! — голос был тем же, глубоким, но теперь в нём звучала не тревога, а вина, тяжёлая, почти осязаемая, и она давила на меня, как толща воды, которую я только что покинул. — Нам было стыдно перед тобой! Мы не хотели молчать, но мы не знали, как сказать, не знали, как объяснить, не знали, имеем ли право нарушать клятву, которую дали много веков назад, когда океан был молодым, а люди только учились плавать. Мы поклялись хранить тайну Слышащих — тех, кто слышит нас, тех, кто носит этот дар или это проклятие, — и мы не можем рассказать тебе всего, Райан, не сейчас, не в этот раз, но мы

никогда не бросим тебя. Никогда. Ты — наш, а мы — твои. Мы были с тобой, когда ты делал первые шаги, когда ты впервые встал на доску, когда ты плакал на этом берегу, потеряв мать, когда ты смеялся, слушая наши истории, — и мы будем с тобой, пока океан дышит, пока волны накачивают на берег, пока звёзды отражаются в воде. Просто прими это... Пожалуйста.

Другие голоса, робкие, виноватые, зашептали в унисон, и их шёпот был как музыка, которую я боялся больше никогда не услышать: *«Прости, прости, прости... Мы хотели ответить, честное слово, хотели! Но нам было стыдно, так стыдно, что мы не могли выдать ни звука, и каждое слово застревало в горле, как рыба кость. Ты же знаешь, как это бывает — когда хочешь что-то сказать, но не можешь, и молчание становится тяжелее слов»*.

Я лежал на доске, закрыв глаза, и слёзы текли по моим щекам, смешиваясь с океаном, и я не мог понять, плачу ли я от облегчения, или от страха, или от того, что только что едва не умер, или от того, что голоса вернулись, или от всего сразу, но это были хорошие слёзы, очищающие, как дождь после долгой засухи, как волна, которая смывает всё лишнее и оставляет только чистое, только настоящее, только живое.

— Я принимаю, — сказал я тихо, и голоса вокруг меня зашептались радостно, запели, засмеялись, и прибрежная волна, та самая, что всегда встречала меня первой, лизнула мою ладонь, и в этом прикосновении было всё: прощение, любовь, обещание никогда не оставлять меня, обещание быть со мной до конца, каким бы он ни был. — Я принимаю. И я больше не буду спрашивать. Обещаю. Ни про Слышашего, ни про русалок, ни про сирен — ни про что, чего вы не хотите рассказывать. Только не молчите больше. Никогда. Я не выдержу второй раз.

— Не будем, — пообещал глубокий голос, и в нём звучала такая уверенность, такая сила, что я поверил. — Никогда. Клянёмся. Мы больше не оставим тебя в тишине.

Я ещё долго лежал на доске, покачиваясь на волнах, и солнце поднималось над горизонтом, окрашивая воду в золото и розовый, и океан говорил со мной — рассказывал какую-то историю про дельфинов, кажется, или про акул, или про то, как два течения встретились у мыса и устроили водоворот, я не запоминал, я просто слушал, впитывал, как сухой песок впитывает воду, и внутри меня, там, где ещё час назад зияла чёрная дыра, теперь снова горел свет, который я носил в себе с детства и который едва не потерял навсегда. И когда я наконец выгреб к берегу, совершенно обессиленный, но живой, и упал на песок, раскинув руки, я знал, что больше никогда не буду один, даже если весь мир отвернётся от меня, даже если люди будут смеяться и называть сумасшедшим, даже если я никогда не узнаю тайну Слышаших, — потому что у меня был океан, и он говорил со мной, это было больше, чем я заслуживал, больше, чем я мог просить, больше, чем я мог мечтать.

Я вышел из леса на край кампуса, чувствуя себя так, словно из меня вынули все внутренности, хорошенько прополоскали в солёной воде, а потом запахнули обратно — кое-как, второпях, не заботясь о том, чтобы всё встало на свои места. Утро выдалось, мягко говоря, паршивым: сначала тишина, сводящая с ума ужа два дня, потом отчаянный заезд без голосов, потом падение, тёмная толща воды, смыкающаяся над головой, и лишь чудом — или не чудом, а вмешательством того глубокого голоса — я всё ещё стоял на ногах, дышал воздухом и шёл по асфальтовой дорожке мимо общежитий, сам не понимая, зачем вообще поплёлся на пары после всего случившегося, наверное, по инерции, наверное, потому что сидеть в пустой хижине и слушать, как в голове эхом отдаётся пережитый ужас, было ещё хуже.

Солнце уже поднялось, заливая кампус тем самым августовским светом, который обычно поднимал мне настроение, но сегодня только раздражал — слишком яркий, слишком громкий, как будто мир издевался над моей внутренней темнотой. Асфальт под ногами был ещё прохладным, но уже обещал дневную жару, и я шёл, глядя в землю, считая трещины в покрытии, чтобы хоть чем-то занять голову, когда что-то звонкое, металлическое прилетело мне в затылок — хлётко, обидно, с тем звуком, с каким пустая банка ударяется о человеческий череп, — и упало на асфальт, покотившись к бордюру. Банка из-под «Фанты»*. Оранжевая, смятая,

ещё липкая от остатков газировки. Я потёр затылок ладонью — будет синяк, наверное, — и медленно, уже зная, кого увижу, повернул голову.

Майло и его неизменная свита стояли у скамейки метрах в двадцати, и ржали они так, словно только что услышали самую остроумную шутку в истории человечества. Майло держался за живот, его дружки — тот, что пониже, и тот, что с вечно невымытыми волосами, — хлопали друг друга по плечам, и их гогот разносился по всему двору, привлекая внимание проходящих мимо студентов, которые, впрочем, предпочитали делать вид, что ничего не замечают. Я выпрямился, чувствуя, как внутри закипает злость — глухая, тёмная, замешанная на утреннем отчаянии и пережитом страхе, — и, не раздумывая, показал ему средний палец, подняв руку так, чтобы он точно увидел, чтобы никаких сомнений не осталось.

Лицо Майло изменилось мгновенно — веселье слетело, как шелуха, обнажив под собой ту самую уродливую злобу, которая всегда пряталась под его показной бравадой. Он сорвался с места и побежал ко мне, и его кроссовки застучали по асфальту, как барабанная дробь, и я, не дожидаясь, пока он сократит расстояние, рванул прочь, расталкивая идущих мимо студентов, слыша за спиной его тяжёлое дыхание и крики: *«Брукси, я тебя достану, слышишь?! Достану, и никакая Рамирес тебя не спасёт!»*.

Я влетел в ближайший корпус, не разбирая дороги, пробежал мимо шкафчиков, где мы столкнулись в прошлый раз, свернул к лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и на втором этаже, запыхавшись, прижался спиной к стене в нише между автоматом с газировкой и пожарным щитом.

Один. Два. Три. Четыре. Пять..

Я считал про себя, пытаюсь выровнять дыхание, и когда досчитал до десяти, осторожно выглянул из-за угла. Никого. Майло то ли потерял меня, то ли ему надоело, то ли он нашёл другую жертву. Я шумно выдохнул, чувствуя, как сердце постепенно возвращается к нормальному ритму, повернулся, сделал шаг — и врезался в кого-то, кто, кажется, тоже никуда не смотрел и тоже спешил по своим делам.

— Ай! Придурок..

Я опустил голову и увидел Рамирес. Она стояла, прижав ладонь к носу, и смотрела на меня снизу вверх тем взглядом — голубым, как мелководье в солнечный день, — в котором сейчас плескалась смесь боли и возмущения. Родинка-звезда под левым глазом, казалось, подмигивала мне, хотя я точно знал, что родинки не умеют подмигивать.

— Прости, — выдавил я, и это слово вышло наружу с тем же скрежетом, с каким открывается давно не смазанная дверь.

— О — она убрала руку от лица, и её брови поползли вверх, а губы изогнулись в усмешке, которую я уже видел раньше и которая ничего хорошего не предвещала. — Так ты умеешь извиняться. Надо же. А я думала, твой словарный запас ограничивается «отвалите» и «я сам справлюсь».

Я закатил глаза — на этот раз, кажется, даже более выразительно, чем обычно, — обошёл её по дуге, стараясь держаться на безопасном расстоянии, и направился в сторону аудитории, где у меня должна была быть океанография, но не успел я сделать и десяти шагов, как рядом со мной зазвучал топот её конверсов, быстрый, лёгкий, и её голос, от которого, как я уже начинал понимать, просто так не отделаться.

— Эй, а ты давно занимаешься сёрфингом?

Я не отвечал, ускоряя шаг, но она не отставала, и её конверсы стучали по линолеуму в такт моим шагам, как будто мы шли в одной связке.

— А ты почему на тренировку вчера не пришла? Тренер ругался. Спрашивал, где Рамирес, почему Рамирес нет, и так далее по списку, — спросил я.

— Дела были, — буркнула она, а потом еле слышно прошипела что-то, что я разобрал с трудом, но, кажется, это было «старый маразматик». — Эй! — её голос снова стал громким,

возмущённым, и она обогнала меня, заступая дорогу, так что мне пришлось остановиться, чтобы не врезаться в неё снова. — Почему это я отвечаю на твои вопросы, а ты на мои — нет? Это нечестно!

— Не хочу, — ответил я, глядя не на неё, а куда-то в стену над её плечом, где висело объявление о наборе в волейбольную команду.

— Ты социофоб, да? — она склонила голову набок, и её голос прозвучал так буднично, как будто она спрашивала, который час.

Я резко остановился — так резко, что мои кеды скрипнули по линолеуму, — и посмотрел на неё. Прямо. В упор. С тем выражением, которое, наверное, должно было её отпугнуть, но она не отшатнулась, не отвела взгляда, а продолжала смотреть на меня всё с тем же любопытством, которое горело в её глазах, как огонёк, который невозможно потушить.

— Что тебе нужно? — спросил я, и мой голос прозвучал тише, чем я планировал.

— Просто интересно, — она пожала плечами, и её улыбка стала шире, — ты такой загадочный, хочется тебя разгадать. Как ребус или как шараду, или как ту штуку, которую никак не можешь открыть, а ключ где-то рядом, но ты его не видишь.

Она улыбнулась и подмигнула глазом, под которым сидела звёздочка, — и я закатил глаза снова, на этот раз, кажется, ещё более выразительно, чем в прошлый раз, и пошёл дальше, но она не отставала, её шаги снова зазвучали рядом, и я вдруг понял, что от неё так просто не отвяжаться, что она из тех людей, которые, если вцепятся, не отпустят, пока не добьются своего.

— Да это же шутка была! — она поравнялась со мной, и её голос звучал обиженно, но как-то понарошку, как будто она сама не верила в свою обиду. — Я всё ещё жду благодарности, так-то! За тот случай с Майло, помнишь? Спринклеры, вода, всё такое?

— Не дождёшься, — я продолжал идти, не глядя на неё, — я тебе уже говорил, что мог справиться сам.

— Ну хорошо, хорошо, не благодари, — она отмахнулась, как от назойливой мухи, — но хотя бы ответь, как давно ты занимаешься сёрфингом! Два дня назад я наблюдала за тобой на тренировке, если честно — впервые за всё время наших общих занятий, потому что ты вечно где-то в стороне, в тени, прячешься, — и у тебя просто невероятно красивый стиль! Как будто.. как будто... — Она запнулась, подбирая слово, и её лоб наморщился, а пальцы забарабанили по бедру, как будто выстукивая ритм, который она слышала только в своей голове. — Как будто ты не катаешься, а танцуешь, — выпалила она наконец. — Или поёшь. Чёрт, даже слов не хватает, чтобы описать твой стиль! Это не техника, не спорт, это что-то другое, и я не понимаю, что именно, но это завораживает. Вот мне и интересно: сколько лет ты учился, чтобы так чувствовать волну?

Я молчал. Мы как раз дошли до дверей моей аудитории, и я остановился, положив ладонь на ручку, чувствуя, как холодный металл холодит пальцы. Она стояла рядом, всё ещё ожидая ответа, и её глаза, голубые, прозрачные, смотрели на меня с тем выражением, которое я видел в коридоре, когда она заступилась за меня перед Майло, — смесь любопытства и упрямства, — и что-то внутри меня дрогнуло, что-то, что обычно молчало, запертое на тысячу замков.

— Я не учился, — сказал я тихо, не глядя на неё, — это само пришло. С детства. Я просто слышу воду и она отвечает.

Я открыл дверь, шагнул внутрь и закрыл её за собой, оставив Скай Рамирес стоять в коридоре с приоткрытым ртом и вопросом, который она не успела задать.

Глава 9. Когда океан затихает

*Волна набежала и ушла — так и
обида. Ты только не держи, не
строй запруд. Море, оно всё смоеет,
если разрешишь.*

Скай Рамирес

Скай

Я топнула ногой сильно, с оттяжкой, так что подошва конверса звонко шлёпнула по линолеуму, и звук этот эхом разнёсся по пустому коридору, отразившись от шкафчиков, от потолка, от стен, но Райан уже скрылся за дверью аудитории, и моя ярость, не найдя адресата, заметалась внутри, как пойманная птица.

— Пошёл ты, говнюк! — крикнула я в закрытую дверь, понимая, что это глупо, что он, скорее всего, уже не слышит, а если и слышит, то ему плевать, потому что он, Райан Брукс, вообще плевать хотел на всё и вся, включая элементарную вежливость, благодарность за спасение и социальные нормы.

Я развернулась на пятках резко, так что волосы хлестнули по щекам, и зашагала прочь, чувствуя, как внутри закипает злость, которая сегодня уже дважды выплёскивалась наружу фонтанами воды, и если бы в коридоре сейчас стоял стакан, он бы, наверное, взорвался. Что вообще значат его слова? *«Я просто слышу воду, и она отвечает»* — что это за бред? Он явно сумасшедший, поэтому и один! Козёл! Урод! Сидит там, в своей скорлупе, выходит только на тренировки и на лекции, а в остальное время разговаривает с волнами, как будто они могут ответить, — и ведь ему даже диагноз не нужен, всё и так на лице написано!

Хотя стоп.

Я остановилась посреди коридора, и какая-то девушка, спешившая мимо с учебниками, едва не врезалась в меня, но я даже не заметила.

Чего это я вообще парюсь над ним? Он мне никто — просто странный парень с третьего места на пьедестале, которого я защитила от Майло по чистой случайности, потому что терпеть не могу, когда сильные обижают слабых, и всё, точка. А то, что он сказал про воду, — это просто совпадение, просто его личный бред, который случайно пересёкся с моими собственными наблюдениями, и нечего тут искать глубокий смысл. Мудак!

Я вспыхнула снова — щёки загорелись, пальцы сжались в кулаки, — и пошла ещё быстрее, почти побежала, и мои конверсы стучали по линолеуму, как барабанная дробь, и студенты, мимо которых я проносилась, шарахались в стороны, потому что, наверное, выражение моего лица не сулило ничего хорошего. Я влетела в свою аудиторию, даже не заметив, как открыла дверь, взлетела по ступенькам на самый верхний ряд, плюхнулась на стул, и он жалобно скрипнул подо мной, принимая вес моей злости.

Телефон. Я вытащила его из кармана — экран загорелся, и я мысленно поблагодарила всех богов электроники за то, что он пережил потоп, видимо, рис все таки помог, хотя я сомневалась, что в нашем доме вообще был рис, — и открыла TikTok*, погружаясь в бесконечную ленту танцев, шуток, собачек, серф-трюков, всего того мусора, который обычно помогал мне отключить мозг, но сегодня даже он не спасал, потому что в голове всё ещё звучал его голос: *«Я просто слышу воду, и она отвечает»*.

Профессор вошёл в аудиторию ровно в тот момент, когда я досматривала видео с котом, который пытался поймать лазерную указку, — сухопарый мужчина в очках, с бородкой клинышком и вечно отсутствующим выражением лица, словно его мысли были где-то далеко, возможно, на раскопках в Перу или в библиотеке Конгресса. Он положил портфель на кафедру,

поправил очки и обвёл аудиторию взглядом, от которого я инстинктивно съёжилась на своём стуле, стараясь занимать как можно меньше места.

— Сегодня мы продолжим разговор о космогонических мифах народов Океании, — начал он, и его голос, сухой, монотонный, поплыл над рядами, как облако пыли, — в частности, о полинезийской концепции Те По и Те Ао — изначальной тьмы и изначального света, из которых родился мир. Обратите внимание на параллели с гностическими текстами, которые мы обсуждали в прошлом семестре: идея предсуществующего хаоса, из которого возникает упорядоченный космос, присутствует практически во всех мифологических системах, однако полинезийская версия интересна тем, что в ней океан — не просто хаос, а сознательная сущность, обладающая волей и способностью к коммуникации.

Мои пальцы, державшие телефон, замерли. Сознательная сущность. Способность к коммуникации. Я подняла глаза от экрана, и профессор, как назло, именно в этот момент поправил очки и продолжил:

— Согласно верованиям маори, океан — это Тангароа, божество, которое не просто управляет водами, а является ими. И в отличие от греческого Посейдона, который повелевает морем извне, Тангароа — это само море, его дыхание, его ритм, его голос. Жрецы, проходившие специальную подготовку, утверждали, что могут слышать этот голос и даже вступать с ним в диалог.

Я отложила телефон и сцепила пальцы в замок, чувствуя, как внутри меня что-то переворачивается, — *совпадение*, говорила я себе, *просто совпадение, просто лекция по теме, которую я выбрала случайно, просто профессор рассказывает то, что написано в учебнике*. Но «*слышать голос океана*» — это же именно то, что сказал Райан. Именно теми же словами и он сказал это не как сумасшедший, а как человек, который знает, о чём говорит.

Профессор тем временем продолжал, и его голос, всё такой же монотонный, теперь казался мне почему-то зловещим, как будто он нарочно подбирал слова, чтобы залезть мне в голову и перетряхнуть все мысли.

— Интересно, что в полинезийской традиции существовало разделение на тех, кто слышит океан, и тех, кто им управляет, — он перевернул страницу лекций, и я подалась вперёд, сама того не замечая. — Первых называли «слушающими» — они были своего рода жрецами, посредниками между людьми и водой. Вторые — «повелевающие» — встречались гораздо реже, и легенды приписывали им способность изменять течение воды, вызывать штормы или, наоборот, умирять волны. Считалось, что слушающий и повелевающий, работая вместе, могли утихомирить любой ураган, — он поднял голову от записей, и его взгляд скользнул по аудитории, выискивая жертву для вопроса, — мисс Чен, как вы думаете, почему в мифах так часто встречается мотив партнёрства двух разных типов магии?

Девушка с переднего ряда, с блондинистой чёлкой, начала что-то отвечать про дуализм и дополнительность, а я сидела на своём месте, сжимая пальцы в замок, и чувствовала, как внутри меня рушится всё, что я знала о реальности. Слушающие. Повелевающие. Райан сказал, что слышит воду. Я — кажется, могу ею управлять. Он — слушающий. Я — повелевающая. И если верить профессору — и полинезийским мифам, — мы должны работать вместе.

Бред. Полный бред. Этого не может быть.

Я сползла по стулу, съёжившись, как улитка в раковине, и скрестила пальцы под столом — не так, как скрещивают на удачу, а так, как скрещивают в детстве, когда врут и надеются, что ложь не раскроется.

Только пожалуйста, не спрашивайте меня. Пожалуйста, не надо. Я не готова отвечать на вопросы про полинезийские мифы, я вообще ни на какие вопросы не готова отвечать, потому что моя голова сейчас занята совершенно другим.

Профессор обвёл аудиторию взглядом, и я вжала голову в плечи, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле, как на экзамене, к которому ты не готовился, как на старте перед важным заездом, когда волна поднимается, а ты не знаешь, справишься ли.

— Мистер Гарсия, — профессор ткнул пальцем в парня, сидевшего через ряд от меня, — что вы можете сказать о роли воды в космогонических мифах? Как стихия, вода — это символ чего?

Парень начал отвечать, и я выдохнула — тихо, незаметно, — но пальцы не разжала, продолжая сидеть в позе съевшегося ёжика, надеясь, что профессор забудет о моём существовании хотя бы на эту пару. Вода — символ хаоса или жизни, или перерождения. Я слушала вполуха, а сама думала о том, что где-то в соседней аудитории сидит Райан Брукс, который сказал мне — прямо, без ужимок, без сарказма, — что слышит воду. И она ему отвечает. И он сказал это так, словно признавался в чём-то, что прятал годами. А я назвала его сумасшедшим. Козёл, да. Урод, возможно. Но сумасшедший ли?

Профессор задал ещё несколько вопросов кому-то про океанические ритуалы, кому-то про символику волн, и каждый раз, когда его взгляд проходил мимо меня, я мысленно благодарила всех богов, в которых не верила, за то, что он не назвал моё имя.

Звонок прозвенел резкий, пронзительный, как крик чайки над ухом, и аудитория тут же наполнилась шумом: скрип стульев, топот ног, шелест учебников, которые запихивали в рюкзаки, и гул голосов, обсуждавших кто что будет делать на обеде, кто куда пойдёт после пар, кто с кем встречается и кто кого бросил. Я не двигалась. Сидела на своём месте, на самом верхнем ряду, сжимая в руках телефон с уже погасшим экраном, и смотрела, как профессор неторопливо собирает свои бумаги, поправляет очки, застёгивает портфель каждое его движение было медленным, обстоятельным, как у человека, который никогда никуда не спешит, потому что знает: истина ждёт.

Студенты вытекали из аудитории, как вода из ванны, если вытащить пробку, поток становился всё тоньше, и наконец схлынул совсем, оставив после себя тишину, нарушаемую только жужжанием кондиционера и далёким эхом шагов в коридоре. Я поднялась, колени слегка дрожали, хотя я не понимала почему, и начала спускаться по ступенькам, чувствуя, как каждый шаг отдаётся в висках, и профессор, уже собиравшийся уходить, заметил меня и остановился у кафедры, придерживая папку, из которой торчали исписанные листы.

— Мисс Рамирес, — его голос прозвучал ровно, без удивления, без раздражения, просто констатация факта, — вы что-то хотели?

Я подошла ближе, перебирая в голове слова, которые репетировала последние десять минут, пока сидела и ждала, пока все уйдут, и вдруг поняла, что все заготовленные фразы куда-то испарились, оставив после себя только сухой остаток правды.

— Да, — я остановилась в паре шагов от кафедры, чувствуя себя неловко, как на экзамене, к которому не готовилась, — мне очень понравилась сегодняшняя лекция. Правда. И я хотела бы позадавать вам вопросы на этот счёт. Не по программе, а глубже. Если можно. Будет ли у вас время?

Профессор поправил очки, и его глаза, увеличенные линзами, смотрели на меня с тем выражением, какое бывает у людей, которые внезапно обнаружили в скучной аудитории живого студента. Он открыл папку, потрёпанную, кожаную, достал записную книжку, пролистал её до последней страницы и пробежался глазами по мелкому, бисерному почерку, который заполнял каждую строчку.

— Сегодня в три у меня окно, — сказал он наконец, захлопывая книжку, — сможете подойти? Кабинет триста двенадцать, это на третьем этаже, крыло В.

Я включила телефон, экран загорелся, высветив 10:03 утра, и быстро прикинула в уме: сейчас ещё одна пара, потом обед, потом окно, в три я свободна, в пять тренировка, до этого времени куча времени.

— Да, отлично, — я кивнула, возможно, слишком энергично, но мне было всё равно, — в три. Кабинет триста двенадцать. Спасибо вам большое.

— До встречи, мисс Рамирес, — он кивнул, и в его глазах мне почудился проблеск любопытства, но он тут же погас, спрятанный за профессиональной вежливостью, и профессор вышел из аудитории, оставив меня одну.

Я постояла ещё с минуту, глядя на пустую кафедру, на доску, где ещё остались меловые разводы от какой-то схемы, которую он рисовал в начале лекции, что-то про генеалогию богов, кажется, и вдруг почувствовала, как внутри меня разливается странное спокойствие, смешанное с предвкушением. Я сделала шаг. Не к выходу — к пониманию. Или, по крайней мере, к попытке понять. А теперь — в столовую, потому что после такой лекции и такого решения мне срочно требовался чай и что-нибудь сладкое.

Я вошла в столовую, уже предвкушая момент, когда зубы погрузятся в мягкое тесто, а крем жирный, сладкий, с ванильным послевкусием, растечётся по языку, и на несколько минут мир станет простым и понятным, как в детстве, когда моей самой большой проблемой было выбрать между лимонным пирогом и шоколадным печеньем. Поднос скользнул по направляющим раздачи, я сгребла с витрины пирожное с горой крема, увенчанной малиной, взяла стакан чая, который пах так, будто малину в него положили с куста, и, расплатившись, оглядела зал в поисках свободного места.

Свободных мест было много: вторник, десять утра, не самое популярное время для обеда, но мой взгляд, сканировавший ряды столиков, вдруг споткнулся. За са-а-амым дальним столиком, в углу, у окна, выходящего на парковку, где чайки всё так же дрались за чей-то оброченный сэндвич, сидел он. Райан Брукс. Один. Перед ним стояла тарелка со спагетти, к которой он, кажется, даже не притронулся, и его тёмные волосы шторкой падали на глаза, скрывая выражение лица, но что-то в его позе, в том, как плечи были чуть приподняты, как пальцы сжимали вилку слишком сильно, говорило о напряжении, которое не имело отношения к макаронам.

Я поставила поднос на стол, не на тот, за которым сидела бы в одиночестве, а на соседний, потёрла ладони друг об друга, как будто собиралась приступить к трапезе, и поймала себя на том, что уже не смотрю на пирожное. Я смотрела на него. На этого странного, нелюдимого парня, который два года прятался в тени, а теперь вдруг оказался в центре моих мыслей, и это раздражало, и интриговало, и требовало действий. Я резко встала — стул скрипнул, проехавшись по полу, — и направилась к его столику, лавируя между стульями, чувствуя, как сердце стучит быстрее, чем следовало бы, но запрещая себе анализировать почему.

Я встала над ним близко, слишком близко для человека, который предпочитает, чтобы его личное пространство измерялось милями, а не сантиметрами, и замерла, ожидая. Он не поднимал головы. Его вилка наматывала спагеттину — одну-единственную, — и я смотрела, как она исчезает в его рту, медленно, задумчиво, словно он не ел, а решал сложную математическую задачу, и наконец он поднял глаза — карие, глубокие, с выражением, которое я уже видела в коридоре, — смесь настороженности и обречённости, как у человека, который знает, что сейчас произойдёт что-то неприятное, но уже не может это остановить.

— Бру-у-укси, — пропела я, растягивая его имя, как жвачку, пока она не порвётся, — а вот и ты.

— Чёрт, — прошипел он, и его пальцы, сжимавшие вилку, сжались ещё сильнее, и я почти услышала, как металл скрипит под их напором.

Я села за его стол без приглашения — бесцеремонно, по-хозяйски, — поставила поднос рядом с его тарелкой и подпёрла подбородок кулаком, глядя на него с тем любопытством, которое, я знала, бесило его больше всего.

— Как прошла пара?

— Не твоё дело, — отрезал он, не поднимая глаз от тарелки.

— Чего ты такой тухлый? — я склонила голову набок, разглядывая его, как разглядывают экспонат в музее. — Я же вроде не состою в компашке отбросов. Мог бы и повежливее общаться.

— Ты одна умудряешься доставлять людям дискомфорт, — он поднял глаза, и в них на мгновение мелькнуло что-то, похожее на отчаяние, смешанное с раздражением, — даже без компании отбросов. У тебя талант.

— Да, в моей деревне все так про меня говорят, — я пожала плечами, ничуть не задевшись, — увы, я такая. Принимай как есть.

— Поэтому будь добра: отвали.

— Я поражаюсь твоему словарному запасу, Брукси, — я откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. — «Отвали» да «отвали». Есть какие-нибудь другие слова? Например: «Привет, Скай, как дела?» Или: «Спасибо, что спасла меня от Майло, я твой должник навеки». Или хотя бы: «Убирайся, но вежливо».

Он перестал жевать. Вилка замерла в воздухе, и он медленно, очень медленно положил её на край тарелки, и его глаза, тёмные, почти чёрные в этом освещении, встретились с моими, и в них было то, чего я раньше не замечала, — глубокая, укоренившаяся недоверчивость, как у животного, которое слишком часто били и которое теперь ожидает удара от любого, кто подходит слишком близко.

— Ты с кем-то поспорила? — спросил он тихо, и его голос прозвучал так, словно он уже знал ответ.

— Чего? — я моргнула, сбитая с толку.

— Ты с кем-то поспорила на то, что стану ли я твоим парнем или другом к какому-то определённом сроку? — он произнёс это медленно, чётко, и каждое слово было как камень, брошенный в воду, и круги от этих камней расходились всё шире, затягивая меня в какую-то мутную, неприятную реальность.

— Ну и у тебя эго, друг мой, — я фыркнула, но фыркание вышло каким-то неуверенным, скомканным. — Нет, конечно. Что за бред?

— Ты меня не замечала два года, — он говорил всё так же тихо, но теперь в его голосе звенела сталь, которую я слышала, когда он сказал «я мог справиться сам», — а тут явилась, не запыхавшись, сразу после того, как начала общаться с Гарретом. Он — богач, насколько мне известно. Его семья спонсирует пол-университета. Может, он поспорил с тобой на деньги? Или на что-то ещё?

Я замерла. Не от возмущения — от неожиданности, потому что я ожидала сарказма, или грубости, или очередного «отвали», но не этого — не обвинения в том, что моё внимание к нему продиктовано корыстью, расчётом, грязным пари.

— Фу, — сказала я, и мой голос прозвучал тихо, но в нём было столько искреннего отвращения, что он, кажется, дрогнул. — Ты серьёзно думаешь, что я мразь?

Он смотрел на меня долго, пристально, и в его глазах, глубоких, как океан, я увидела ответ, и от этого ответа у меня внутри что-то оборвалось, что-то тонкое, хрупкое, о существовании чего я даже не подозревала.

Похоже, реально так думает.

— Интересно, — сказала я, и мой голос, обычно острый, колючий, готовый к атаке, стал каким-то чужим, — с чего такое мнение? Я вроде не давала повода считать меня человеком, который заключает пари на чувства других людей. Или, может, ты просто судишь по себе?

Я подалась вперёд, опираясь локтями о стол, и расстояние между нами сократилось до минимума, на котором уже не скрыться, не спрятаться, не сделать вид, что разговор не имеет значения. Я чувствовала запах его геля для душа, что-то простое, без выпендрёжа, мыло и соль, и видела, как дрогнули его ресницы, как побелели костяшки пальцев, сжимавших край стола, как заходили желваки на скулах.

— Я не сужу, — сказал он наконец, и его голос прозвучал глухо, как будто он говорил сквозь толщу воды, — я просто не верю, что кто-то может захотеть общаться со мной просто так. Без причины. Без выгоды. Без пари. Два года — долгий срок, чтобы понять, что ты никому не интересен. И когда кто-то вдруг проявляет интерес — это подозрительно. Ты подошла ко мне после того, как начала общаться с Гарретом. Ты влезла в драку с Майло, хотя тебя никто не просил. Ты ходишь за мной по коридорам, задаёшь вопросы, улыбаешься — и я не понимаю, что тебе нужно. Я не понимаю тебя, Скай.

Он впервые назвал меня по имени — не «Рамирес», не «ты», а «Скай», — и от этого моё сердце пропустило удар, хотя я запретила ему пропускать удары, запретила реагировать, запретила вообще биться чаще, чем положено по медицинским нормам.

— Мне нужно понять, — сказала я, и мой голос, обычно громкий, самоуверенный, сейчас был тихим, почти шёпотом, — что ты имел в виду, когда сказал, что слышишь воду. Я не поспорила ни с кем, Райан. Я не заключаю пари на людей. И Гаррет, с которым я «начала общаться», как ты выразился, мне никто — просто соперник, которого я обставила на волне, и он поцеловал меня на закате, но это ничего не значит, потому что он целует каждую пятую девушку, а я не хочу быть пятой, шестой или десятой. Я пришла к тебе, потому что...

Я запнулась. Слова застряли в горле, которые я никогда не говорила вслух, которые хранила глубоко внутри, под замком из сарказма и бравады, — и теперь они просились наружу, но не все, только те, что я могла произнести, не раскрывая собственной тайны, потому что рассказывать ему про кран и про стакан было ещё рано, слишком рано для такого доверия, для такой уязвимости.

— Потому что? — он поднял бровь, и в его голосе не было насмешки, только ожидание, терпеливое, но напряжённое, как струна, готовая лопнуть.

— Потому что мне стало интересно, — выдохнула я, и это была правда, не вся, но та её часть, которую я могла дать ему сейчас, не обнажая себя до костей. — Ты сказал, что слышишь воду. Сказал так, будто это самая обычная вещь в мире, как дышать или ходить. И я вдруг поняла, что за два года тренировок я ни разу не видела, как ты серфишь. Нет, вру — видела, но не смотрела. А два дня назад посмотрела. И это было.. — я запнулась, подбирая слово, но оно не находилось, и я просто развела руками, — не как у всех. Ты двигался так, будто океан тебя слушается или ты его, или вы друг друга. И когда ты сказал там, в коридоре, про то, что слышишь воду, — у меня в голове что-то щёлкнуло. Я подумала: вот почему. Вот почему его стиль такой.

Я замолчала, переводя дыхание, и заметила, что он больше не смотрит на меня с той глухой враждебностью, что была минуту назад. Теперь в его глазах было настороженное любопытство, как у зверя, который чувствует незнакомый запах, но ещё не решил, убежать или подойти ближе.

— И всё? — спросил он, и его голос, всё ещё недоверчивый, стал чуть тише. — Ты подошла ко мне только потому, что тебе понравился мой стиль?

— Не только, — я откинулась на спинку стула, чувствуя, как напряжение понемногу отпускает, — ещё потому, что ты единственный человек в этом университете, который не пытается со мной дружить из-за того, что я выиграла пару соревнований. И единственный, кто не пытается меня трахнуть, как Гаррет и половина его команды. И единственный, кто сказал мне в лицо «отвали», когда я пыталась быть милой. Это, знаешь ли, интригует.

— Ты странная, — сказал он, и в его голосе, обычно плоском, как штиль, прорезалось что-то похожее на удивление.

— А ты — нет? — я усмехнулась, и моя усмешка вышла кривоватой, но искренней. — Ты разговариваешь с водой, Брукси. Я слышала, как Майло орал об этом на весь коридор. Если уж кто-то тут странный, то мы оба в одной лодке. Или на одной доске.

Он опустил глаза — не в знак поражения, а скорее в знак того, что согласен, но не хочет признавать это вслух, — и его пальцы, всё ещё сжимавшие вилку, наконец расслабились, и вилка легла на край тарелки с тихим звоном.

— Я не странный, — сказал он тихо, и в его голосе проскользнула уязвимость, которую я заметила ещё в коридоре, когда он признался про воду, — я просто не такой, как все. Это не одно и то же.

— Знаю, — ответила я, и мои слова прозвучали мягче, чем я планировала, — я тоже не такая. Может, поэтому меня к тебе и тянет. Не в романтическом смысле, — добавила я поспешно, хотя щёки предательски потеплели, — не обольщайся. Просто ты настоящий. Таких мало.

Он поднял глаза, и несколько долгих секунд мы просто смотрели друг на друга, и в этом взгляде не было ни вызова, ни насмешки, ни флирта — было что-то другое.

— Ладно, Рамирес, — сказал он наконец, и его губы, обычно сжатые в тонкую линию, дрогнули в подобии улыбки, — убедила. Ты не мразь. Но я всё ещё не понимаю, что тебе от меня нужно.

— Я тоже пока не понимаю, — призналась я, вставая и забирая свой поднос, — но, может, разберёмся по ходу дела? В конце концов, у нас одна тренировка на двоих. И один океан.

Я развернулась и пошла обратно к своему столику, чувствуя, как его взгляд провожает меня, и на душе у меня было странно — тревожно, но легко, как будто я только что перепрыгнула через пропасть и приземлилась на другой стороне, ещё не зная, что меня там ждёт, но уже понимая, что обратной дороги нет.

Следующая пара началась через двадцать минут — антропология, предмет, ради которого я, собственно, и поступила в университет, потому что Джексон когда-то сказал, что антропология изучает людей, а люди — это самое интересное и самое странное, что есть в мире, и мне, выросшей на легендах океана, всегда хотелось понять, почему мы, люди, рассказываем друг другу истории и почему эти истории так похожи, даже если их рассказывают на разных концах земли. Аудитория была меньше предыдущей — уютная, с окнами, выходившими на эвкалиптовую рощу, и с книжными полками вдоль стен, на которых пылились старые тома в кожаных переплётах, пахнувшие временем и библиотечной плесенью, и я, скользнув на своё привычное место у окна, достала тетрадь, ручку и приготовилась слушать.

Профессор Харт — седовласый, с бородой, делавшей его похожим на Чарльза Дарвина, каким его рисуют в учебниках, — вошёл в аудиторию не через дверь, а словно материализовался из воздуха, как всегда, и его появление сопровождалось тем особым шорохом, какой бывает, когда сорок студентов одновременно замолкают и поворачивают головы. Он положил на кафедру потёртый портфель, поправил очки в тонкой оправе и обвёл аудиторию взглядом, который, казалось, видел каждого насквозь, но не осуждал, а скорее изучал, как изучают редкий вид бабочек.

— Сегодня мы поговорим о хтонических существах в мифологии народов мира, — начал он, и его голос, низкий, обволакивающий, поплыл над рядами, — о тех созданиях, что обитают на границе между мирами: между сушей и морем, между светом и тьмой, между жизнью и смертью. Водная стихия в этом смысле — самая богатая на чудовищ, и не случайно: океан огромен, неизведан, и человеческий страх перед глубиной порождает образы, которые живут веками. На прошлом занятии мы обсуждали Лох-Несское чудовище — обратите внимание, как шотландская легенда перекликается с кельтскими мифами о водяных лошадях, которые заманивают путников в воду, — на позапрошлом — кракена, и вы помните, что скандинавские саги описывают его как существо, способное утащить на дно целый корабль, а современные криптозоологи до сих пор спорят, не был ли кракен просто гигантским кальмаром, которого наука открыла лишь в XIX веке. На поза-позапрошлом — Сциллу, и тут уже греческая традиция, где чудовище — это наказание, трансформация, результат ревности богов.

Он сделал паузу, обводя аудиторию взглядом, и я заметила, как несколько студентов, сидевших на первых рядах, подались вперёд, предвкушая. Профессор Харт был известен тем, что на середине пары мог внезапно переключиться с академического тона на сказительский, и его легенды слушали, затаив дыхание, даже те, кто обычно спал на задних рядах, уткнувшись в телефоны.

— Но сегодня, — продолжил он, и его глаза блеснули за стёклами очков, — я расскажу вам о существе, которое древнее и Сциллы, и кракена, и всех шотландских чудовищ вместе взятых. Оно упоминается в самых разных культурах, под разными именами, но суть его остаётся неизменной: это воплощение хаоса, зверь, что обитает в пучине и ждёт своего часа, — он выдержал паузу, и в аудитории стало так тихо, что я услышала, как за окном эвкалипт скрипит на ветру. — Речь пойдёт о Левиафане.

Я отложила ручку, забыв о конспекте. Левиафан. Это имя звучало во мне, как далёкий раскат грома, как что-то знакомое, но забытое, словно я слышала его раньше — может быть, в детстве, от Джексона, может быть, у костра, когда старый Томас рассказывал легенды, — и теперь это имя вернулось, требуя внимания.

— В иудейской традиции, — профессор Харт опёрся обеими руками о кафедру, и его голос приобрёл тот особый ритм, который появлялся у него всегда, когда он переходил от лекции к сказу, — Левиафан — это морской змей, созданный Богом на пятый день творения. Но в отличие от других тварей, которых Бог сотворил парами — самец и самка, чтобы они могли плодиться и размножаться, — Левиафан был создан один. Один-единственный. И в этом одиночестве — ключ к его природе. Представьте себе существо такой мощи, что Бог, увидев его, понял: если Левиафаны расплодятся, они уничтожат весь мир. И тогда Бог — согласно мидрашам — убил самку Левиафана, а самца обрёк на вечное одиночество в глубинах океана. Его чешуя излучает свет, его дыхание заставляет воду закипать, его глаза — как два солнца, что сияют во тьме, и нет в мире никого, кто мог бы сравниться с ним силой. И он ждёт. Ждёт конца времён, когда, согласно пророчеству, он будет сражён архангелом Гавриилом, а его плоть послужит пищей для праведников на мессианском пиру.

Профессор замолчал, давая нам переварить образ, и я поймала себя на том, что рисую в тетради — не волну, как обычно, не звёздочку, а нечто, похожее на змея, извивающегося в толще воды, и мои пальцы, сжимавшие ручку, были напряжены, как будто я сама находилась там, в глубине, лицом к лицу с Левиафаном.

— Но иудейская традиция — не единственная, где появляется этот образ, — продолжил Харт, отходя от кафедры и начиная расхаживать вдоль доски. — В угаритских текстах, найденных при раскопках древнего города Угарит, упоминается морское чудовище по имени Литан — семиголовый змей, с которым сражался бог Баал. Звучит похоже, не правда ли? Левиафан, Литан — корень один. Ещё глубже, в месопотамских мифах, мы встречаем Тиамат — первозданный океан, богиню хаоса, которую побеждает Мардук и из её тела создаёт небо и землю. Тиамат — это не просто чудовище, это сама стихия, сам океан, живой, разумный, обладающий волей. И вот тут мы подходим к самому интересному: во всех этих мифах, от Шумера до средневековой Европы, океан — это не просто вода. Это сознательная сущность. И чудовища, обитающие в нём, — будь то Левиафан, кракен, Сцилла или змей Мидгарда, — это не просто монстры, которых нужно победить. Это — проявления самого океана, его голоса, его воли, его гнева.

Я замерла. «Сознательная сущность». «Проявления самого океана». Слова профессора Харта эхом отдавались в голове, накладываясь на то, что я слышала от Райана, — «я слышу воду, и она отвечает», — и на то, что я читала в учебниках, и на то, что рассказывал Джексон о Слушающем, и на легенду Томаса о русалке, которая полюбила человека. Всё это складывалось в картину — огромную, пугающую, захватывающую, — и я чувствовала себя так, будто стою на пороге открытия, но пока не могу переступить этот порог.

— В средневековых bestiариях, — профессор Харт тем временем продолжал, не подозревая о буре, которая разворачивалась внутри меня, — Левиафан часто изображался как гигантская рыба или кит, а в христианской традиции он стал символом гордыни, зависти, смертного греха. Фома Аквинский ассоциировал Левиафана с демоном зависти, а Данте в «Божественной комедии» поместил его в девятый круг ада, где он, вмороженный в лёд, терзает грешников. Но что любопытно: во всех этих традициях Левиафан никогда не побеждён окончательно. Он либо ждёт своего часа, либо его смерть отложена до конца времён. Он — константа, вечная угроза, напоминание о том, что океан огромен, а человек — мал. И что хаос всегда рядом, всегда за тонкой перегородкой порядка.

Он остановился у окна, и солнечный свет, пробившийся сквозь эвкалиптовые ветви, упал на его лицо, сделав его на мгновение похожим на пророка, сошедшего со страниц Ветхого Завета.

— Есть ещё одна легенда, менее известная, но, на мой взгляд, самая красивая, — сказал он тише, и аудитория, которая уже начала потихоньку шуршать тетрадами, снова замерла. — Согласно некоторым каббалистическим текстам, Левиафан не зол. Он не воплощение зла. Он — страж. Понимаете? Он охраняет границу между миром людей и миром глубины. Он не нападает на корабли — он следит, чтобы люди не заплывали туда, куда им не следует. И единственный, кто может пройти мимо Левиафана, — это тот, кого океан признал своим. Тот, кто слышит воду. Тот, кто говорит с ней на одном языке.

Мои пальцы, сжимавшие ручку, дрогнули, и ручка выскользнула, покатилась по тетради, оставляя чернильный след, и я даже не попыталась её поймать, потому что все мои мысли были заняты одним: «Тот, кто слышит воду». Райан. Он говорил, что слышит воду. И если верить профессору Харту — и каббалистическим текстам, и мидрашам, и угаритским мифам, — то такие люди существовали всегда. Их называли по-разному: Слушающие, жрецы Тангароа, те, кто может говорить с океаном. И теперь один из них сидел через несколько аудиторий от меня, а я — я, которая, возможно, была не просто Слушающей, а чем-то иным, — всё ещё боялась признаться в этом даже себе.

— К следующему занятию, — голос профессора вернулся к обычному, лекционному тону, — прочитайте главу о хтонических культах в Океании и подготовьте краткий конспект. И, пожалуйста, не используйте Википедию. В прошлый раз один из вас сдал мне конспект, целиком скопированный из статьи «Кракен» с первого попавшегося сайта. Я узнал, потому что там было написано «кракен обитает в Северном море и питается викингками». Викингками, Карл! — он всплеснул руками, и аудитория взорвалась смехом, тем облегчённым смехом, каким смеются студенты, когда напряжение долгой лекции наконец спадает.

Я засмеялась вместе со всеми, но мой смех был рассеянным, потому что мысли мои всё ещё крутились вокруг Левиафана, Слушающих и того, что я скажу профессору в три часа дня в кабинете триста двенадцать. Какие вопросы я ему задам? Спрошу ли я напрямую о тех, кто слышит океан? Или побоюсь и ограничусь общими фразами?

Когда прозвенел звонок, я собрала вещи медленнее обычного, пропуская вперёд других студентов, и вышла из аудитории последней, чувствуя, как внутри меня зреет решимость.

Я дождалась трёх часов, слоняясь по кампусу без особой цели, сначала сидела в библиотеке, листая учебник по антропологии, но не вчитываясь в строки, потому что мысли мои всё ещё кружили вокруг Левиафана, Слушающих и того, что сказал Райан в коридоре, а потом просто бродила по дорожкам между корпусами, глядя, как чайки патрулируют парковку в поисках еды, как студенты спешат на пары с опозданием, как солнце ползёт по небу, отмечая течение дня. В три часа дня я уже стояла перед дверью кабинета триста двенадцать, и моё сердце кололось где-то в горле, хотя я запретила себе волноваться, потому что волноваться перед разговором с профессором было глупо — он не кусался, он просто рассказывал легенды, а легенды я любила с детства.

Дверь была чуть приоткрыта, сквозь щель пробивался жёлтый свет настольной лампы и доносился запах чая с бергамотом, и я, помедлив, просунула голову в проём, чувствуя себя так, будто мне снова шесть лет и я собираюсь спросить у Джексона, можно ли мне ещё одну историю перед сном.

— Можно?

Профессор Винтер с отсутствующим выражением лица, которое, как я теперь видела вблизи, было вовсе не отсутствующим, а скорее задумчивым, поднял голову от каких-то бумаг и поправил очки.

— Заходите, заходите, мисс Рамирес, — его голос прозвучал тепло, почти по-домашнему, и от этого тепла моё волнение немного отступило.

Я робко вошла, прижимая сумку к груди, как будто она могла послужить щитом, и оглядела кабинет. Он был маленьким, но уютным: книжные полки от пола до потолка заставлены томами в потёртых переплётках, на подоконнике — горшок с геранью, на стене — карта Океании с пометками, сделанными от руки, и всюду — бумаги, бумаги, бумаги, стопками на столе, на стуле, на полу, и среди этого бумажного моря стоял поднос с двумя чашками, заварочным чайником и вазочкой конфет в ярких фантиках. Профессор Винтер сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и в руке у него была чашка с дымящимся чаем, и весь его вид говорил: *«Я никуда не спешу, рассказывайте»*.

Я села напротив — на краешек стула, всё ещё сжимая сумку, — и профессор, заметив мою неловкость, пододвинул ко мне вазочку с конфетами.

— Будете? — спросил он, и его очки блеснули в свете лампы.

— Нет, спасибо, — я покачала головой, и он, пожав плечами, взял конфету сам, развернул фантик и отправил в рот, запивая чаем.

— Ну что ж, — он поджал губы, устраиваясь поудобнее, и откинулся на спинку кресла, — я весь внимание. Вы сказали, что лекция вам понравилась, — польщён, честно говоря. Обычно студенты приходят с вопросами только перед экзаменами, и вопросы эти звучат как «а что будет в билетах?». А у вас, я чувствую, вопросы иного рода.

— М-м-м — я замялась, перебирая пальцами край сумки, и вдруг поняла, что все заготовленные фразы куда-то испарились. — Я даже не знаю, с какого вопроса начать. Их слишком много, и все они какие-то странные.

— Не переживайте, мисс Рамирес, — он улыбнулся, и его улыбка была такой же, как у Джексона, когда тот рассказывал мне легенды, — терпеливой, понимающей, — я не кусаюсь. И, поверьте, я слышал вопросы гораздо более странные, чем те, что вы, возможно, хотите задать. Один студент как-то спросил меня, не был ли кракен на самом деле инопланетянином. Так что вы в хорошей компании.

Я неловко улыбнулась, и от этой улыбки — и от его шутки — лёд внутри меня треснул, и слова, наконец, начали находиться.

— Я бы хотела узнать что-нибудь про русалок, — начала я, и мой голос прозвучал тише, чем я планировала. — Эм... я живу в деревушке Ковилл, это в часе езды отсюда, у побережья, и там всё время рассказывают всякие легенды и сказки, в основном про океан. Местные рыбаки, старейшины, мой дядя — у них у каждого есть история. Но вот вы — преподаватель, учёный, и мне интересно, что вам известно на этот счёт. Не просто сказки, а с научной точки зрения. Или с исторической. Или с какой угодно, лишь бы не просто «жила-была русалка и утонула».

Профессор Винтер закинул ногу на ногу и взял ещё одну конфету, задумчиво разворачивая фантик.

— Почему вы интересуетесь именно русалками? — спросил он, и его голос звучал не как экзаменационный вопрос, а как искреннее любопытство.

— Опять же, я опираюсь на свою деревушку, — я пожала плечами, надеясь, что это выглядит достаточно убедительно. — Там местные в основном рыбаки или моряки, и они раз-

ные истории рассказывают. Про шторма, про корабли-призраки, про китов, которые спасают тонущих, но всегда интереснее всего слушать про русалок. Хотелось бы от вас какую-нибудь историю услышать. И если можно, — я поморщилась, — не про Слушающего и его возлюбленную русалку. Дядя часто её рассказывал, уже тошно. Честное слово, я её наизусть знаю.

Профессор усмехнулся, и его глаза за стёклами очков блеснули.

— Понимаю, — он кивнул, и в его голосе прозвучало что-то вроде узнавания, как будто он сам когда-то был на моём месте и тоже устал от одних и тех же легенд, — у каждого побережья есть своя история про русалку и рыбака. Это архетип, универсальный сюжет, который кочует из культуры в культуру. Но если вы хотите чего-то иного — что ж, я расскажу вам то, что редко услышишь у костра.

Он отпил чаю, поставил чашку на блюдце и откинулся в кресле, и его лицо, освещённое лампой, стало тем самым лицом сказителя, которое я видела на лекциях, когда он переходил от теории к историям.

— Начнём с того, что русалки в том виде, в каком мы их знаем, — с хвостом, длинными волосами и склонностью к трагической любви — это довольно поздняя европейская конструкция. Но корни этого образа уходят гораздо глубже, в самые древние пласты человеческой культуры. Практически каждый народ, живший у моря, имел своё представление о водных людях. У шумеров была богиня Амбиа, которая вышла из Персидского залива и научила людей земледелию. У африканского народа догонов — духи воды номмо, которых описывают как существ с рыбьими хвостами и человеческими лицами. На Филиппинах до сих пор рыбаки рассказывают о сиренах — и это не греческие сирены, заметьте, это местные существа, которые живут в коралловых рифах и, по поверьям, охраняют подводные сады.

Он подался вперёд, и его голос стал тише, но интенсивнее, как будто он делился тайной.

— Но самая интересная, на мой взгляд, традиция связана не с Европой, а с островами Тихого океана. Полинезийцы, микронезийцы, меланезийцы — у них у всех есть предания о существах, которых можно назвать русалками, но с одной важной оговоркой: это не полурыбы-полуженщины. Это люди, которые могут жить и на суше, и в воде. Понимаете? Не хвост, который сменяется ногами по волшебству, а изначальная двойственность. Они рождаются среди людей, живут как люди, но в их крови — океан. И рано или поздно океан зовёт их обратно.

— И они уходят? — спросила я, и мой голос дрогнул, хотя я не планировала этого.

— По-разному, — профессор пожал плечами, взял ещё одну конфету, но не развернул, а просто держал в пальцах, — некоторые уходят навсегда. Некоторые живут на два мира: днём ходят по суше, ночью плавают в бухте. Некоторые даже не подозревают о своей природе, пока что-то — стресс, гнев, любовь, близость воды — не пробуждает в них эту кровь. И тогда начинаются странности. Внезапные способности. Тяга к океану, которую невозможно объяснить. Ощущение, что вода — это не просто стихия, а нечто большее.

Он замолчал, разворачивая конфету, и в наступившей паузе я услышала, как за окном скрипят эвкалипты, как чайник на подоконнике тихо булькает, как моё сердце стучит слишком громко, слишком быстро, слишком очевидно.

— И есть ещё кое-что, — добавил он, и его глаза встретились с моими, и мне показалось, что он видит больше, чем говорит, — во многих тихоокеанских культурах считается, что такие люди не одиноки. Что к каждому «водному» человеку рано или поздно приходит другой — тот, кто слышит океан. Не управляет, не повелевает, а именно слышит. И вместе они составляют нечто вроде пары, баланса. Один — сила, другой — слух. Один — волна, другой — ветер, который её направляет. И когда они находят друг друга — океан затихает.

Я сидела, не дыша, и мои пальцы, сжимавшие сумку, побелели. «Один — сила, другой — слух». «Когда они находят друг друга — океан затихает». Всё, что он говорил, было будто

специально подобрано для меня и для Райана, и я уже не знала, верить ли в совпадения или признать наконец, что мир устроен совсем не так, как я думала.

— А вы — начала я, и мой голос прозвучал хрипло, — вы сами верите в эти легенды? Как учёный?

Профессор Винтер улыбнулся загадочной улыбкой, какой улыбаются люди, знающие гораздо больше, чем говорят. Он снял очки, протёр их краем рубашки и водрузил обратно, прежде чем ответить: — Я, мисс Рамирес, изучаю антропологию уже тридцать пять лет. И за эти годы я понял одну простую вещь: люди не придумывают историй на пустом месте. Что-то всегда стоит за легендой. Что-то, что когда-то было реальным — или до сих пор остаётся.

Я кивнула, переваривая услышанное, и в голове у меня крутились обрывки фраз — *«один — сила, другой — слух», «океан затихает», «что-то всегда стоит за легендой»*, — и следующий вопрос родился сам собой, раньше, чем я успела его обдумать, раньше, чем я успела испугаться, что он прозвучит слишком лично.

— Эм.. — я замаялась, пытаюсь подобрать слова, — если говорить про сегодняшнюю лекцию про Левиафана, про Слышащих, про всё это, то... как возникли эти слушающие? Должен же быть какой-то исток? Вы сказали, что в каждой культуре есть свои истории о тех, кто слышит океан, но с чего всё началось? Кто был первым?

Профессор Винтер поставил чашку на блюдце с тихим стуком, и его глаза, увеличенные линзами очков, блеснули с особым выражением, какое бывает у человека, который долго ждал этого вопроса и наконец дождался. Он не стал отвечать сразу, вместо этого он встал, подошёл к одной из книжных полок, провёл пальцем по корешкам, как будто искал что-то, и, найдя нужный том — старый, в потёртом зелёном переплёте, с золотым тиснением, — снял его с полки и положил на стол передо мной, но не открыл, а просто оставил лежать, как безмолвное обещание ответа.

— Это хороший вопрос, мисс Рамирес, — сказал он, возвращаясь в кресло и снова закидывая ногу на ногу, — и, честно говоря, я редко слышу его от студентов. Обычно они спрашивают про экзамены. А вы спрашиваете про истоки. Это говорит о том, что вы не просто слушаете лекции — вы впускаете их в себя. Это редкое качество.

Он помолчал, словно собираясь с мыслями, и его взгляд на мгновение устремился куда-то вдаль, за пределы кабинета, за пределы университета, за пределы времени.

— Исток Слышащих, — начал он, и его голос приобрёл тот самый ритм, который появлялся у него на лекциях, когда он переходил от теории к повествованию, — это, пожалуй, один из древнейших сюжетов в истории человечества. Он старше письменности, старше земледелия, старше, возможно, даже самих богов в том виде, в каком мы их знаем. Первое упоминание о людях, способных слышать океан, мы находим не в книгах, не в манускриптах, а в устной традиции народов, живших у моря за тысячи лет до того, как были построены первые города. И чтобы понять, откуда взялись Слышащие, нужно сначала понять, кем был океан для древнего человека.

Он подался вперёд, опираясь локтями о стол, и его пальцы, унизанные старческими веснушками, сплелись в замок.

— Представьте себе мир, в котором ещё нет науки. Нет океанографии, нет метеорологии, нет спутников, которые предсказывают шторм за неделю. Человек стоит на берегу и смотрит на воду, которая простирается до горизонта и дальше, — на воду, которая может дать ему пищу, а может убить его одним движением. Она непредсказуема. Она огромна. Она живёт по своим законам, и законы эти человеку неведомы. И естественная реакция на такую стихию — это страх, смешанный с благоговением. Но всегда, во все времена, находились люди, которые не боялись. Или боялись, но иначе — не как угрозы, а как тайны, которую хочется разгадать. Они садились у кромки воды и слушали. Не просто слышали шум прибоя — они слушали ритм, рисунок, дыхание океана. И со временем — поколение за поколением — они начинали

различать в этом шуме закономерности. Они замечали, что волны меняются перед штормом определённым образом. Что некоторые течения приносят рыбу, а другие уносят. Что океан дышит — прилив, отлив, — и у этого дыхания есть свой пульс.

Он сделал паузу, и его палец поднялся, указывая куда-то вверх, к потолку, к небу, к чему-то невидимому.

— Эти люди становились первыми жрецами воды. Первыми оракулами океана. Их называли по-разному: Слушающие, Шепчущие-с-волнами, Те-Кто-Знает-Ритм. Они не управляли водой — это принципиально важно, — они её понимали. И понимание это давало им власть иного рода: они могли предсказать шторм, найти косяк рыбы, провести лодку через рифы. Для своих общин они были незаменимы. Их почитали, к их словам прислушивались старейшины, их благословляли перед выходом в море.

— Но откуда брался этот дар? — спросила я, и мой голос прозвучал тихо, почти хрипло.

— Вот здесь, — профессор улыбнулся, — мы вступаем на зыбкую почву мифов. Потому что каждая культура отвечала на этот вопрос по-своему, и ответ всегда был мистическим. В древнем Вавилоне, например, существовала легенда о том, что бог Эа — владыка подземных вод и хранитель мудрости — выбрал первых людей, которые будут его голосом на земле. Он вышел из Персидского залива в облике человека-рыбы, и те, кто увидел его и не ослеп от ужаса, получили дар слышать воду. Они основали первый храм Эа в Эриду, и их потомки — жрецы этого храма — передавали дар из поколения в поколение, и считалось, что если жрец покинет храм и перестанет служить океану, то дар исчезнет из его крови навсегда.

Он взял книгу, которую до этого положил на стол, и наконец открыл её — страницы были жёлтыми, пахли временем, и на одной из них я увидела иллюстрацию: человек с рыбьим хвостом, выходящий из воды, и люди на берегу, падающие ниц.

— У кельтов, — продолжил он, перелистывая страницы, — была другая традиция. Они верили, что Слышашие — это потомки тех, кто заключил договор с морским народом. Не с богами, заметьте, а именно с народом — с теми, кто живёт под водой и не принадлежит ни к людям, ни к духам. По легенде, когда первые кельтские племена пришли на побережье Ирландии, они встретили там существ, которые выглядели как люди, но могли дышать под водой. Между ними и людьми был заключён союз: морской народ научил людей слышать океан, а люди поклялись никогда не охотиться на тюленей — потому что, согласно кельтским верованиям, тюлени были любимыми животными морского народа и часто служили им проводниками между мирами. Нарушивший эту клятву терял слух — в прямом смысле. Глух. И уже не мог слышать ни океан, ни людей.

Я сидела, затаив дыхание, и моя рука, лежавшая на колене, сжималась в кулак, разжималась, снова сжималась — нервный тик, который появлялся у меня всегда, когда я слышала что-то слишком важное, слишком близкое к тому, что не давало мне покоя.

— Но самая древняя история, — профессор Винтер перевернул ещё несколько страниц и остановился на иллюстрации, изображавшей огромного змея, обвивающего скалу посреди океана, — самая древняя из дошедших до нас — это полинезийская. Та, о которой я упоминал на лекции. Согласно ей, первым Слышашим был человек по имени Тане-Те-Моана — буквально «Тот-Кто-Слушает-Море». Он жил так давно, что звёзды на небе ещё не заняли свои места, а острова ещё не поднялись из воды. И он был не жрецом, не избранным — он был изгоем. Его выгнали из племени, потому что он был странным: не охотился, не сражался, а только сидел на берегу и смотрел на воду, и люди думали, что он одержим злым духом. Но океан видел его. И однажды заговорил с ним — не словами, а ритмом, чувством, знанием. И Тане-Те-Моана стал первым, кто понял язык волн. Он вернулся в своё племя и предупредил их о надвигающемся цунами — за три дня до того, как оно обрушилось на берег. Племя спаслось, а Тане стал первым Слушашим, и с тех пор, согласно полинезийской традиции, дар передаётся через поколения, но не по крови, а по выбору.

— По выбору океана? — уточнила я, и мой голос прозвучал почти шёпотом.

— Именно, — профессор кивнул, и его глаза встретились с моими. — Океан выбирает. Не самого сильного, не самого умного, не самого достойного. Он выбирает того, кто готов слушать. И в разных культурах это называется по-разному: зов, предназначение, проклятие. Но суть одна: если океан выбрал тебя, ты уже не можешь отказаться. Ты можешь игнорировать зов, можешь заглушать его, можешь убегать от него — но он всегда будет звучать в тебе, как далёкий прибор, как песня, которую ты не можешь забыть, как голос, который зовёт тебя по имени.

— А если.. — я запнулась, и слова застряли в горле, — а если кто-то не слышит голоса, но при этом вода реагирует на него? Не подчиняется, а именно реагирует? Как если бы он не Слышащий, а что-то другое? Бывает такое в легендах?

Профессор Винтер снял очки, протёр их и снова надел, и его лицо, лишённое на мгновение стёкол, показалось мне старше и мудрее, чем обычно.

— Бывает, — сказал он тихо. — В тех же полинезийских мифах есть понятие «Повелевающие». Они встречаются гораздо реже Слышащих — один на тысячу, а то и на целое поколение. Они не слышат океан, они его чувствуют. Не ушами, а кровью. И океан отвечает на их чувства — на гнев, на страх, на радость, на любовь. Это дар, который труднее контролировать, потому что он привязан к эмоциям, а эмоции — штука нестабильная. Легенды говорят, что Повелевающие и Слышащие — это две половинки одного целого, и когда они встречаются, их способности дополняют друг друга, и вместе они могут то, чего не могут по отдельности: усмирить шторм, успокоить цунами, исцелить залив. Но легенды также говорят, — он сделал паузу, и его голос стал тише, — что если Повелевающий не найдёт своего Слышащего, то рано или поздно он потеряет контроль. Его эмоции, не сбалансированные слухом, могут разрушить всё вокруг. И в первую очередь — его самого.

— Это ужасно, — сказала я, и мой голос прозвучал тише, чем мне хотелось бы, почти шёпотом, почти признанием.

— Да, — профессор Винтер кивнул, и его лицо, освещённое лампой, было спокойным, но в глазах мелькнуло что-то похожее на сочувствие, — но это всё же легенды. В нашем мире такого не бывает. По крайней мере, науке об этом ничего не известно.

Я встала — резче, чем планировала, — и стул скрипнул по полу, проехавшись на пару сантиметров, и мои пальцы, всё ещё сжимавшие сумку, наконец разжались.

— Спасибо за ответы, — я постаралась, чтобы мой голос звучал ровно, без той дрожи, что всё ещё сидела где-то в горле, — было очень интересно. Правда.

— Всегда пожалуйста, мисс Рамирес, — он тоже встал, провожая меня к двери, и его рука, сухая, тёплая, на секунду коснулась моего плеча, — и я надеюсь, что на следующей паре вы не будете прятаться на заднем ряду и проявите смелость ответить на мои вопросы. Я заметил, что вы знаете материал — просто предпочитаете отсиживаться. А зря. Такой ум, как ваш, заслуживает того, чтобы его слышали.

Я слегка вжала голову в плечи, нервно хихикая, и почувствовала, как щёки заливают румянец, который появлялся всякий раз, когда меня хвалили, и с которым я ничего не могла поделать.

— Да я учту это.. Обязательно учту.

— Если будут ещё вопросы, — он остановился в дверях, опираясь рукой о косяк, — всегда рад на них ответить. Моя дверь открыта. В прямом и переносном смысле.

— Спасибо, — повторила я и выскользнула в коридор, чувствуя, как внутри меня борются два противоречивых желания: вернуться и спросить ещё — или убежать как можно дальше и забыть всё, что я услышала.

Дверь за мной закрылась с мягким щелчком, и я осталась одна в пустом коридоре, где пахло мелом, старой бумагой и чьим-то забытым ланчем, и тишина, навалившаяся на меня, была такой густой, что я могла бы резать её ножом.

— Ну и бредятина, — сказала я вслух, и мой голос эхом отразился от стен, от шкафчиков, от потолка, — полная, абсолютная, несусветная бредятина.

Я зашагала к выходу, и мои конверсы стучали по линолеуму в такт моим мыслям — быстрым, сбивчивым, перескакивающим с одного на другое, — и я чувствовала, что если сейчас же не возьму себя в руки, то просто сойду с ума.

Нужно объективно оценить свой разум: я поехавшая, и мне надо в дурку. Серьёзно. Прямо сейчас. Собрать вещи, поехать в ближайшую психиатрическую клинику и попросить, чтобы меня осмотрел специалист, потому что нормальные люди не слушают лекции про Левиафана и Слышащих, а потом не бегут к профессору с вопросами про русалок, про Повелевающих, про то, бывает ли так, что вода реагирует на чьи-то эмоции, — нормальные люди сидят в столовой, едят пирожные и обсуждают сериалы, а не это вот всё. А ещё нужно выкинуть все свои комиксы. Все до единого. Особенно те, где супергерои управляют стихиями, — это они во всём виноваты, это они забили мне голову идеями о том, что обычный человек может быть чем-то большим, чем просто человек. И запретить дяде рассказывать мне истории. Раз и навсегда. Никаких больше легенд океана, никаких Слышающих, никаких русалок, влюбившихся в рыбаков, — пусть рассказывает про погоду, про урожай, про то, как починить крышу, что угодно, только не это. И на собрания деревни я больше не хожу. Ни к кострищу, ни к Томасу, ни к старейшинам — пусть рассказывают свои байки кому-нибудь другому, а я пас. Хватит с меня бреда сивой кобылы.

Я толкнула входную дверь и вышла на улицу, и солнце, клонившееся к вечеру, ударило мне в глаза, заставив зажмуриться, и морской ветер, прилетевший с океана, растрепал волосы, бросил в лицо запах соли и водорослей, и я вдруг поняла, что даже если выкину все комиксы, даже если перестану слушать легенды, даже если запрюсь в самой дальней комнате и заткну уши воском, как Одиссей, — океан всё равно будет здесь. Он будет дышать под обрывом, он будет звать меня по ночам, он будет отзываться на мою злость фонтанами воды и ломать краны одним моим прикосновением, и ничего, ничего, ничего я с этим не сделаю.

Спустя двадцать минут я была уже возле берега. Знакомая бухта, где проходили тренировки, встретила меня шумом прибоя, криками чаек и голосами ребят, которые уже собирались у кромки воды, — кто-то натягивал гидрокостюм, кто-то проверял лиш, кто-то разминался, потягивая мышцы, а тренер Коул, как всегда, стоял с мегафоном в руке, и его квадратная челюсть была сжата в ожидании опоздавших. Я переоделась за скалой, где обычно оставляла рюкзак, натянула гидрокостюм, пахнувший неопреном и прошлыми победами, надела шапочку, под которую пришлось запихнуть волосы, и взяла доску — холодную, гладкую, живую под моими пальцами.

— Молодец, Рамирес, не опоздала, — Коул бросил на меня взгляд, в котором читалось одобрение, смешанное с удивлением, потому что обычно я появлялась в последнюю минуту, запыхавшаяся, с извинениями на губах.

— Я старалась, — ответила я, и это было правдой, хотя причиной моей пунктуальности была вовсе не дисциплина, а желание поскорее оказаться в воде, где всё становилось простым и понятным.

— Что ж, — тренер поднял мегафон, и его голос разнёсся над пляжем, — три круга отсюда до вон той пальмы на конце берега. Бегом — марш!

И мы побежали. Десять человек — Кейт, Ноа, Чейз, Себастьян, Алекс, Рафаэль, Гаррет, Райан, ещё пара ребят, чьи имена я вечно забывала, — босые ноги зашлёпали по влажному песку, дыхание сбилось в общий ритм, и солнце, висевшее над горизонтом, окрасило воду в розовый, в золотой, в тот самый цвет, который я любила больше всего. Я ускорила, обгоняя

Кейт, которая бросила на меня сердитый взгляд, но ничего не сказала, обогнала Чейза, который всегда бегал медленно, потому что ленился разминаться, и поравнялась с Райаном — его тёмные волосы, ещё не собранные под шапочку, развевались на ветру, и он смотрел вперёд с тем самым отсутствующим выражением, будто бежал не по пляжу, а по дну океана, где никто не мог его достать.

— Ты же не думаешь, что я от тебя отстану? — выдохнула я, и мой голос, перебиваемый бегом, прозвучал с вызовом.

Он повернул голову — на секунду, не больше, — и его глаза, карие, глубокие, встретились с моими, и в них мелькнуло что-то похожее на обречённость, смешанную с весельем, которое он, кажется, сам от себя не ожидал.

— Как жаль, — ответил он, и его голос, ровный, без одышки, хотя мы бежали уже полпути, прозвучал так, словно он действительно жалел, но уже смирился, — а я надеялся уже.

— На что? — я чуть не споткнулась о ракушку, но удержала равновесие. — На то, что я уйду? Исчезну? Переведусь в другой университет?

— На тишину, — он пожал плечами на бегу, и это выглядело так комично, что я чуть не рассмеялась, — хотя бы на время тренировки.

— Не дождёшься, Брукси, — я фыркнула, и мой смех, короткий, отрывистый, смешался с шумом прибоя, — тишина — это не про меня. Спроси у Майло. Или у тренера. Или у всей моей деревни.

— Уже понял, — пробормотал он, но в его голосе, обычно колючем, как морской ёж, мне почудилось что-то другое — может быть, смирение, может быть, принятие, а может быть, та самая искра, которая появляется, когда два человека, сами того не замечая, начинают говорить на одном языке.

Мы добежали до пальмы, развернулись, и я, обгоняя его на повороте, слегка задела его плечом — случайно, честное слово, случайно, — но он не отодвинулся, не ускорился, а просто продолжил бежать рядом, и мы вместе закончили первый круг.

Наконец, спустя еще два круга, закончили с бегом — три круга до пальмы и обратно, — и мои лёгкие горели, а ноги налились той приятной тяжестью, какая бывает только после хорошей разминки, когда мышцы разогреты и готовы к настоящей работе. Тренер Коул, не давая нам ни минуты передышки, поднял мегафон, и его голос, хрипловатый, как всегда, перекрыл шум прибоя:

— Встаём на доски! Вода сегодня хорошая, волна идёт ровная, так что работаем над входом в трубу и выходом. Никаких фокусов, никакой самодеятельности. Уайлд — ты первый, покажи класс. Рамирес — не подрезай никого, я серьёзно. Брукс — не прячься за спинами, я тебя вижу. Все в воду, живо!

Я схватила доску и бросилась в океан, чувствуя, как прохладная вода обнимает щиколотки, колени, бёдра, как она принимает меня в свои объятия, и знакомый ритм, что я слышала с детства, зазвучал где-то на границе сознания, успокаивая, приводя мысли в порядок. Я легла на доску и загребала, чувствуя, как мышцы работают размеренно, как солёные брызги летят в лицо, как солнце, уже начавшее клониться к закату, золотит воду вокруг меня, и где-то слева, в паре метров, плыл Райан — его тёмные волосы уже намокли, прилипли ко лбу, и он смотрел вперёд с тем самым отсутствующим выражением, которое появлялось у него всякий раз, когда он оказывался в воде, словно он был не здесь, не с нами, а где-то далеко, в глубине, куда никто не мог добраться.

Я подгрёбла ближе — достаточно близко, чтобы он меня услышал, но не настолько, чтобы нарушить его личное пространство, которое он охранял, как пограничник.

— Ты можешь отстать от меня хотя бы на тренировке? — спросил он, не поворачивая головы, и его голос, ровный, глухой, прозвучал так, словно он уже смирился с тем, что я здесь, но ещё надеялся на чудо.

— Нет, Брукси, — я улыбнулась, хотя он этого не видел, — хочу поучиться у тебя. Ты же лучший, когда дело доходит до стиля. Ты двигался так, будто вода тебя слушается. Я тоже так хочу.

— У тебя свой стиль сёрфинга, у меня свой, — он наконец повернул голову, и его глаза, тёмные, как глубина под рифом, встретились с моими, и в них мелькнуло что-то, похожее на раздражение, но не злое, а скорее усталое. — Не надо у меня учиться. Ты сама кого угодно научишь.

— А что такого? — я пожала плечами, балансируя на доске. — Я же не прошу тебя быть моим тренером. Просто покажи, как ты это делаешь, как ты чувствуешь волну, как ты с ней... ну, ты понял.

— Потому что мне нужна тишина, — он отвернулся, и его голос стал тише, но в нём прорезалась колючесть, которая появлялась всякий раз, когда кто-то подходил слишком близко, — а ты громкая, как чёрт из табакерки. От тебя шума больше, чем от целой стаи чаек. Ты вообще можешь помолчать хотя бы минуту?

— Ха-ха, — я фыркнула, но в моём смехе не было обиды, только веселье, потому что он был прав, и я знала, что он прав, и мне это даже нравилось, — очень смешно. Ты случайно не стендап-комик по вечерам? С таким-то остроумием?

Он не ответил — просто встал на доску, одним плавным движением, без рывков, без усилий, и волна, подошедшая к нему, приняла его, как принимает хозяйка дорогого гостя, и он заскользил по её склону, и его тело, высокое, мускулистое, двигалось с грацией, которая была не спортом, а музыкой, и я, забыв обо всём, тоже встала на доску и поймала следующую волну, следуя за ним хвостом, как дельфин, который пристроился за кораблём.

Он вошёл в поворот — и я повторила. Он скользнул влево, огибая невидимый риф, — и я скользнула следом, стараясь копировать каждое движение, каждый наклон корпуса, каждый перенос веса, и моё тело, привыкшее к собственной манере, поначалу сопротивлялось, но потом вдруг начало понимать — не умом, а чем-то глубже, что его стиль был не про силу, не про скорость, а про диалог, про то, как вода отвечает, если ты умеешь слушать, и я слушала, впитывала, как губка, и волна подо мной вдруг стала другой — мягче, податливее, словно она тоже заметила, что я пытаюсь говорить на её языке.

Райан вылетел из волны первым, спрыгнул с доски в воду и обернулся, наблюдая, как я заканчиваю свой заезд, и его лицо, обычно непроницаемое, выражало что-то среднее между удивлением и недовольством — как будто он не ожидал, что у меня получится, и теперь не знал, радоваться этому или злиться.

— Ты что, повторяешь за мной? — спросил он, когда я подгрёбла ближе, и его голос звучал обвиняюще, но без настоящей злости.

— Ага, — я отдышалась, убирая волосы с лица, — а что? Запрещено правилами?

— Нет, — он помолчал, и его пальцы, сжимавшие доску, чуть расслабились, — просто странно. Обычно ты орёшь на всех, кто встаёт у тебя на пути, а тут вдруг плывёшь за мной, как утёнок за мамой-уткой. Что с тобой случилось?

— Ничего, — я пожала плечами, но внутри меня что-то дрогнуло, потому что он, сам того не зная, попал в точку: со мной действительно что-то случилось, но я пока не была готова рассказывать ему про профессора Винтера, про Левиафана, про Повелевающих и Слышавших, про всё то, что перевернуло мой мир за последние два дня, — просто настроение такое. Захотелось попробовать что-то новое. И ты, Брукси, как раз «что-то новое». Не обольщайся.

— И не собирался, — он фыркнул, но уголок его губ дрогнул, и мне показалось, или это просто игра света на воде, что он почти улыбнулся, и от этой почти-улыбки у меня внутри потеплело, хотя я запретила себе теплеть, запретила реагировать, запретила вообще думать о Райане Бруксе в каком-либо контексте, кроме спортивного.

Тренер свистнул, давая сигнал к следующему заходу, и на этот раз Райан не поплыл вперёд — он остался рядом, и когда подошла волна, он кивнул мне: «*Давай, покажи, чему научилась*», — и я встала на доску, стараясь повторить всё, что видела, и у меня почти получилось, и когда я вышла из волны, он, кажется, даже не отвёл взгляда, и это было странно, неожиданно, но приятно.

— Уже лучше, — сказал он, когда я подгробла обратно, и в его голосе, обычно плоском, как штиль, прозвучала нота, которую я раньше не слышала, — уважение, смешанное с любопытством, — но ты всё ещё слишком давишь на доску. Волна — не противник. Ты не борешься с ней. Ты танцуешь.

— Танцую, — повторила я, и слово это отозвалось во мне эхом, потому что именно так я и думала, когда смотрела на него, именно это я и пыталась описать, и то, что он сам использовал это слово, означало, что мы с ним были на одной волне — в прямом и переносном смысле.

— Ладно, Брукси, — сказала я, улыбаясь, — кажется, я начинаю понимать. Давай ещё раз. Покажи мне этот танец. А я обещаю быть тихой, как мышь. Или как рыба. Как очень тихая рыба.

Он закатил глаза, но на этот раз в этом жесте не было ни злости, ни раздражения — только то самое смирение, которое появляется, когда ты понимаешь, что от судьбы не уйдёшь и что эта громкая, неугомонная девчонка, которая пристала к тебе как банный лист, может быть, не так уж и плоха, — и он поплыл к новому пику, а я за ним, и мы вместе ловили волну за волной, и где-то на третьем заходе я поймала себя на мысли, что не хочу, чтобы тренировка заканчивалась.

Я вылезла из воды одновременно с Райаном — наши доски синхронно коснулись песка, и мы, мокрые, уставшие, но довольные, зашагали по берегу, оставляя за собой цепочку следов, которые тут же смывало набегающей волной. Солнце уже почти село, и небо над океаном было раскрашено в те самые оранжевые, розовые, а после в густой синий тона, что я помнила с детства, и воздух пах солью, водорослями и особенной вечерней прохладой, какая бывает только у побережья в августе. Райан шёл молча, стряхивая воду с волос, и его доска, зажата под мышкой, поблёскивала в закатном свете, и я, шагая рядом, вдруг поняла, что за всю тренировку он ни разу не попытался от меня уплыть, и это было маленькой, но значимой победой.

— Как насчёт одиночного заплыва? — спросила я, и мой голос, всё ещё запыхавшийся после последнего заезда, прозвучал почти небрежно.

— Не-а, — он покачал головой, даже не взглянув на меня, — не хочу.

— Почему? — я ускорила шаг, чтобы заглянуть ему в лицо, но он упрямо смотрел вперёд, на тропинку, ведущую к парковке.

— Потому что не хочу, в чём проблема? — его голос был ровным, но в нём проскользнула нотка, которая появлялась всякий раз, когда он пытался закрыться.

— Ну вдруг у тебя есть какая-то настоящая причина твоего «не хочу», — я не отставала, шагая рядом, и мои пальцы, сжимавшие доску, отбивали ритм по её поверхности, — например, встреча с девушкой, или «я по вечерам не сёрфю», или... да что угодно! Вечером же классно сёрфить. О! — меня вдруг осенило, и я даже остановилась на секунду, но тут же догнала его снова, — а ты был на пляже со светящимся планктоном или водорослями? Когда ночью неоновый синий красиво выбрасывается на берег? Я была один раз, когда с дядей ездила в отпуск, так классно было! Вода светится, как будто в неё звёзды насыпали, и когда идёшь по песку, за тобой остаются светящиеся следы, и если нырнуть, то всё тело покрывается этой синей пылью, и ты сам становишься похожим на созвездие!

— Нет... — он чуть замедлил шаг, и его голос, обычно ровный, как штиль, прозвучал с какой-то новой интонацией, которую я не могла разобрать, — не был.

— Как-нибудь побываем там, — я махнула рукой, словно это было делом решённым, и уже собиралась добавить что-то ещё про то, какие там волны на закате, когда он вдруг остановился.

Я тоже остановилась — по инерции сделав ещё пару шагов, — и обернулась.

Райан стоял на тропинке, и его лицо, подсвеченное закатом, было странным: не злым, не раздражённым, а скорее озадаченным, как будто я только что сказала что-то, чего он не ожидал услышать ни от кого, а тем более от меня.

— Ты и я? — переспросил он, и его голос прозвучал так осторожно, словно он ступал по тонкому льду.

Я пожала плечами, не придавая своим словам того значения, которое он, кажется, в них нашёл.

— Ну да? Прикольно же было бы. Я бы хотела увидеть, как ты на таком пляже ловишь волну, — твой стиль и неоновые водоросли были бы, наверное, почти как восхождение Иисуса. Ну, знаешь, когда он по воде шёл? Вот так же — только ты на доске, а под тобой всё сияет. Эпично.

— Наверное... да — он произнёс это медленно, как будто пробовал слова на вкус и они оказались неожиданно приятными, и его глаза, тёмные, глубокие, смотрели на меня с выражением, которое я уже видела в столовой, — смесь недоверия и хрупкой, едва зарождающейся надежды на то, что, возможно, я не шучу, не издеваюсь, не готовлю очередной подвох.

— Ну вот и супер! — я хлопнула в ладоши, и мой жест получился слишком громким, слишком энергичным, но мне было всё равно.

И тут, в самый неподходящий момент, когда воздух между мной и Райаном только начал теплеть, когда он почти перестал смотреть на меня как на стихийное бедствие, а я почти перестала видеть в нём просто загадку, которую хочется разгадать, — нас окликнул голос, который я узнала бы из тысячи и который сейчас вызывал у меня только желание закатить глаза.

— Скай.

Я обернулась. Гаррет стоял в нескольких метрах, и его силуэт, подсвеченный закатом, был картинно красив, как всегда, — мокрые волосы, расстёгнутый гидрокостюм, обнаживший пресс, который был его визитной карточкой, и выражение лица, которое я слишком хорошо знала: смесь собственничества и раздражения, как будто я была его вещью, которую кто-то взял без спроса.

Райан тоже обернулся, и я заметила, как его плечи напряглись, как пальцы сильнее сжали доску, как его лицо, только что открытое, почти уязвимое, снова захлопнулось, как раковина, в которую ударили палкой.

— Чего тебе, Уайлд? — мой голос прозвучал резче, чем я планировала, но Гаррет, казалось, этого и ожидал.

— Поговорить надо, — он кивнул в сторону, подальше от посторонних ушей, и его взгляд, скользнувший по Райану, был полон презрения, которое он обычно приберегал для соперников на волне.

Я повернулась к Райану, чувствуя, как внутри меня закипает раздражение — не на него, а на Гаррета, который вечно появлялся не вовремя и всё портил.

— Иди, Брукси, я тебя догоню.

— Не надо, — его голос прозвучал глухо, и он развернулся, даже не взглянув на меня, и зашагал прочь по тропинке, и его спина, прямая, напряжённая, говорила больше, чем любые слова, и я почувствовала, как внутри меня что-то оборвалось, что-то тонкое, что только-только начало натягиваться между нами, — и это было обидно, чертовски обидно, хотя я сама не понимала почему.

Я повернулась к Гаррету, и мои глаза, наверное, метали молнии, потому что он даже отступил на полшага, прежде чем взять себя в руки.

— Что? — бросила я, скрещивая руки на груди.

— Так ты теперь с этим неудачником? — его голос, низкий, с ленцой, которая когда-то казалась мне привлекательной, а теперь только раздражала, сочился ядом. — Ты поэтому меня отшила? Променила меня на Брукса? На парня, который даже на пьедестал не выходит? Который разговаривает сам с собой в воде, как псих?

— Гаррет, снизь планку, — я шагнула к нему, и мой голос, тихий, но полный стали, заставил его замереть. — Во-первых, Брукс не неудачник. Ты видел его сёрф? Ты вообще смотрел на него, пока мы были на воде, или ты только на себя в отражении любишься? Он обалденный. Его стиль — это не спорт, это искусство, до которого тебе, при всём твоём таланте, ещё расти и расти. А во-вторых, — я ткнула пальцем ему в грудь, и он, кажется, даже не дышал, — учись принимать отказ девушки. Я тебе уже сказала: между нами ничего нет и не будет. Не потому что Брукс, не потому что кто-то ещё, а потому что ты, Гаррет Уайлд, мне не интересен. Ты красивый, да. Ты талантливый. Но ты смотришь на меня как на трофей, который нужно завоевать, и я не хочу быть ничьим трофеем. Ясно?

Гаррет стоял передо мной, и его лицо, обычно такое уверенное, такое холёное, словно он только что сошёл с обложки журнала, сейчас дрогнуло — не от страха, нет, а от того, что мои слова попали в цель, пробили броню, которую он носил годами, и за этой бронёй оказалась растерянность, которую испытывает человек, когда его привычный мир, где он всегда был в центре, вдруг даёт трещину.

— Ты серьёзно? — его голос, обычно низкий, обволакивающий, стал выше, тоньше, и в нём прорезалась мальчишеская интонация, которую я слышала на пляже, когда он проиграл мне реванш, — ты серьёзно сравниваешь меня с Бруксом? С парнем, у которого нет ни спонсоров, ни амбиций, ни нормальных друзей? Да он же никто, Скай! Он даже с людьми разговаривать не умеет! Ты видела, как он стоит в сторонке на каждой тренировке и ждёт, пока все уйдут? Он изгой. Всегда им был, всегда им будет.

— Может, поэтому он мне и интересен, — я пожала плечами, и этот жест, небрежный, лёгкий, подействовал на Гаррета сильнее, чем любые слова, — потому что он не пытается никого впечатлить. Не пытается купить меня ужином или победой на волне. Не пытается затащить в постель только потому, что я ему отказала. Он просто есть. Настоящий. И да, он не умеет разговаривать с людьми, но, знаешь, — я склонила голову набок, — может, это потому, что люди, с которыми он пытался разговаривать, были вроде тебя? Которые только и делают, что тычут пальцами и называют неудачником?

— Я не тыкал в него пальцем! — Гаррет вскинул руки, и его голос сорвался на крик. — Я вообще его не замечал до того, как ты начала с ним носиться! Он был пустым местом, понимаешь? Никто не травил его специально, никто не устраивал на него охоту — он сам сделал себя невидимкой, сам спрятался в свою раковину, и если его это устраивало, то какое мне до этого дело? Но теперь ты вцепилась в него, как будто он — твой личный проект, твой благотворительный случай, и ты решила его спасти! А ты не думала, что ему, может быть, не нужно твоё спасение? Что он, может быть, вообще не хочет, чтобы ты лезла в его жизнь?

Вот тут я замолчала. Не потому что мне нечего было ответить — у меня всегда находилось что ответить, а потому что его слова задели что-то, о чём я сама думала, но боялась признаться.

Может быть, я действительно лезу туда, куда меня не просили? Может быть, Райан не хочет, чтобы я была рядом, а я просто не слышу его «нет» за своим собственным шумом?

Но потом я вспомнила, как он сказал «наверное да» там, на тропинке, когда я предложила съездить на пляж со светящимся планктоном, как его глаза на секунду потеплели, как он почти улыбнулся. И я поняла, что Гаррет не прав или прав, но не до конца, и что я не собираюсь отступать только потому, что кто-то, кто никогда не пытался понять Райана, говорит мне, что я ему не нужна.

— Знаешь, Гаррет, — сказала я, и мой голос, тихий, ровный, прозвучал в вечернем воздухе как-то особенно отчётливо, — ты, наверное, даже не слышишь себя со стороны. Ты только что сказал, что Брукс — никто, что он пустое место, что он неудачник без амбиций и друзей. А потом обвинил меня в том, что я лезу к нему со своим спасением. Но ты не заметил главного: я лезу к нему не потому, что хочу его спасти. Я лезу к нему, потому что он единственный, с кем мне интересно. Единственный, кто не смотрит на меня как на трофей. Единственный, кто говорит мне «отвали» в лицо, когда я перегибаю. И если ты называешь это «благотворительностью», то мне тебя жаль, потому что ты, при всех твоих победах и спонсорах, так и не понял, что люди общаются друг с другом не ради выгоды, а просто потому что...

Я замолчала, переводя дыхание, и Гаррет смотрел на меня — долго, пристально, — и на его лице, обычно таком уверенном, боролись гнев, обида и боль.

— Ты правда думаешь, что я смотрел на тебя как на трофей? — спросил он наконец, и его голос прозвучал так тихо, что мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова.

— А разве нет? — я подняла бровь, и этот жест, должно быть, ранил его сильнее, чем любые оскорбления.

— Может, поначалу, — он отвёл взгляд, и его пальцы, сжимавшие доску, разжались, — может, поначалу да. Ты была просто девчонкой, которая выиграла у меня заезд и которую хотелось поставить на место. Но потом.. — он запнулся, и я увидела, как его кадык дёрнулся, когда он сглотнул, — потом, когда мы целовались на пляже, — это было не про трофей. Это было другое. Настоящее. И ты это знаешь.

Я молчала, потому что он был прав — в том поцелуе было что-то настоящее, что-то, чего я сама не ожидала, что-то, что я пыталась забыть, но не могла. *Но этого было недостаточно.* Настоящего поцелуя недостаточно, чтобы построить что-то большее, и я знала это так же твёрдо, как знала, что океан не прощает ошибок.

— Мне жаль, Гаррет, — сказала я, и мой голос, тихий, почти ласковый, прозвучал эхом моего собственного удивления, — правда жаль. Ты не плохой человек. Ты просто не для меня, как и я не для тебя, а теперь извини — мне нужно догнать Брукса, пока он не решил, что я его бросаю.

Я развернулась и пошла прочь, и мои босые ноги ступали по песку, по траве, по тропинке, ведущей к парковке, и за спиной у меня молчал Гаррет Уайлд — возможно, впервые в жизни оставшийся без последнего слова.

— Эй! Брукси!

Мой голос разнёсся над парковкой, вспугнув чайку, которая сидела на чьём-то пикапе и чистила перья, и я побежала босиком по асфальту, потом по траве, потом снова по асфальту, чувствуя, как ветер хлещет по лицу, как мокрые волосы бьют по плечам, как сердце колотится где-то в горле, и я нагнала его у самого поворота, где тропинка раздваивалась: одна вела к парковке, другая к Старой лагуне, и резко встала прямо перед ним, раскинув руки, заставив его затормозить так, что его босые пятки проехали по земле, подняв облачко пыли.

— Что тебе нужно? — произнёс он резко, и его голос, обычно ровный, как штиль, сейчас был полон холода, который я уже слышала раньше, когда он думал, что я поспорила с Гарретом.

— Ты чего злишься? — я опустила руки, но не отступила ни на шаг, продолжая стоять прямо перед ним, блокируя путь.

— Потому что очевидно, что ты поспорила с Гарретом, — он попытался обойти меня слева, но я шагнула влево, он попытался обойти справа — я шагнула вправо, и мы застыли в этом нелепом танце, как два боксёра перед боем. — Дай пройти, Рамирес.

— Послушай же меня! — я вскинула руки, почти касаясь его груди, но не дотрагиваясь, потому что знала: он не любит прикосновений, он вздрагивает от них, как от ожога. — Я не спорила с чёртовым Уайлдом! Как тебе это доказать? Хочешь, пойдём прямо сейчас к нему и спросим? Хочешь, я позвоню своему дяде, и он подтвердит, что я никогда в жизни не заклю-

чала пари на людей? Хочешь, я поклянусь на чём угодно — на доске, на океане, на могиле моей матери, — что у меня и в мыслях не было?

— Не знаю, — он отвёл взгляд, и его пальцы, сжимавшие доску, побелели, и желваки на скулах заходили ходуном, и я видела, что он не хочет мне верить, но и не может до конца не верить, и это «не знаю» было уже шагом вперёд по сравнению с тем, что было в столовой.

— Я понимаю, — я опустила руки, и мой голос, обычно громкий, уверенный, колючий, стал мягче, тише, — я понимаю, что ты впервые сталкиваешься с тем, что к тебе так липнет человек, да ещё и девушка, что тебе может показаться, будто её взяли на спор. Я понимаю, почему ты так думаешь. Ты привык, что люди либо не замечают тебя, либо смеются, либо тычут пальцами, как Майло, и когда кто-то вдруг проявляет интерес — это подозрительно, это странно, это не укладывается в твою картину мира, но это не так, Райан. Мне правда с тобой интересно. Там, в воде, было весело — ну, насколько вообще может быть весело на тренировке, — и да, мы общаемся всего ничего, но ты правда крутой, и я хотела бы узнать тебя получше.

Я перевела дыхание, чувствуя, как слова несутся потоком, как вода из прорванного крана, и остановить их уже невозможно, да я и не хотела останавливать.

— Возможно, у меня ещё та репутация. Я знаю, что люди говорят: Рамирес — дерзкая, Рамирес — колючая, Рамирес — чудачка из Ковилла, которая любит рассекать океан и подрезать соперников. Но я показываю себя такой, какая я есть, понимаешь? Я не притворяюсь милой, не надеваю маску, не играю в игры. Я говорю то, что думаю, и делаю то, что хочу, и если мне кто-то интересен — я подхожу и говорю об этом прямо. И я никогда — слышишь, никогда! — не спорила насчёт чужих чувств. Если бы узнал об этом мой дядя, он бы меня убил. Не в переносном смысле — в прямом. Он мне с детства вбивал, что чувства людей — это важно, что играть с ними нельзя, что чужая душа — это не игрушка, и если я хоть раз позволю себе что-то подобное, он меня из дома выгонит, а потом прочитает лекцию на три часа с диаграммами и презентацией. Поэтому, пожалуйста, — я посмотрела ему прямо в глаза, и мой голос дрогнул на последнем слове, хотя я не планировала этого, — не записывай меня в твари, ладно? Я не тварь. Я просто громкая и настойчивая, и может быть, немножко бестактная, но я не тварь.

Тишина. Долгая, глубокая — такая, какая бывает под водой, когда ныряешь и всё вокруг замирает. Райан стоял, опустив голову, и его тёмные волосы шторкой падали на глаза, скрывая выражение лица, и я не знала, что он сейчас скажет, пошлёт меня снова, или оттолкнёт, или просто обойдёт и уйдёт, как делал всегда, и от этого незнания внутри меня всё сжалось.

— Ты правда так думаешь? — спросил он наконец, и его голос прозвучал глухо, недоверчиво, но уже без той стали, что была минуту назад.

— Правда, — выдохнула я, и это слово, простое, короткое, далось мне легче, чем все предыдущие, вместе взятые. — Я правда так думаю. Ты крутой. Твой сёрфинг — это искусство. И то, что ты слышишь воду, — это не делает тебя сумасшедшим. Это делает тебя особенным. Я не знаю, как это работает и почему, но я видела тебя на волне, и это было прекрасно. И я хочу понять просто для себя.. для нас.. — это я уже произнесла шепотом, надеясь, что нге услышит. — Если ты, конечно, не против.

Он поднял глаза, и в них, глубоких, как океан, который он слышал, я увидела, как лёд, сковывавший его всё это время, дал трещину — тонкую, едва заметную, но настоящую.

— Для нас? — переспросил он, и в его голосе проскользнуло что-то, похожее на изумление.

— Ну да, — я пожала плечами, чувствуя, как щёки предательски теплеют, и быстро добавила: — В смысле, для нашего... эм... общения. Или дружбы. Или чего там у нас получается. Неважно. Главное, что я не тварь и не поспорила с Гарретом. Ты мне веришь?

Он молчал. Долго — так долго, что чайка, сидевшая на пикапе, успела улететь, а солнце опустилось ещё ниже, и небо из золотого стало сиреневым, и я уже начала думать, что он не ответит, что сейчас он просто развернётся и уйдёт, и я останусь стоять на этой тропинке одна,

когда он наконец сказал — тихо, почти шёпотом, но в этом шёпоте было больше веса, чем в любом крике:

— Верю. Но с одним условием.

— Каким? — я замерла.

— Никаких больше разговоров про Гаррета, — он скрестил руки на груди, и его лицо, всё ещё серьёзное, чуть смягчилось, — и про Майло. И про всех остальных. Если ты хочешь общаться — давай общаться. Но без них. Без этой толпы. Только ты и я. И океан. Идёт?

Я улыбнулась — широко, открыто, чувствуя, как внутри разливается тепло, которое, наверное, было заметно даже в сумерках.

— Идёт, Брукси. Только ты, я и океан. И ещё, может быть, светящийся планктон когда-нибудь. Если захочешь.

— Посмотрим, — он хмыкнул, и в этом хмычке мне почудилось что-то, похожее на согласие, и он наконец обошёл меня — но не как препятствие, а как попутчика, — и мы пошли рядом, в ногу, в одном ритме, и тропинка вела нас прочь от парковки, прочь от кампуса, прочь от всего, что осталось позади, — вперёд, к тому, что только начиналось.

Глава 10. Голоса не лгут

*Не верь тому, кто говорит, что
море злое. Море — как дитя:
играет, плачет, смеётся. Ты его
только не поучай, а играй в ответ.*

Райан Брукс

Райан

Я шёл домой после тренировки, и на душе у меня было странно: не плохо и не хорошо, а как-то взбаламученно, словно кто-то бросил камень в пруд и круги до сих пор расходились по воде, не в силах успокоиться. Скай Рамирес — эта громкая, неугомонная, невыносимая девчонка с родинкой-звездой под глазом застряла у меня в голове, как песчинка в раковине, и я не знал, что с ней делать: вытолкнуть или оставить, позволив ей стать жемчужиной. Она говорила искренне — я видел это по её глазам, по тому, как она перегородила мне путь и отказалась отступать, по тому, как её голос дрогнул, когда она рассказывала про дядю, который вбивал ей, что чувства людей важны, — и часть меня, та, что устала от одиночества, хотела ей верить, хотела открыться, хотела наконец-то перестать шарахаться от каждого, кто подходит слишком близко. Но другая часть — та, что росла во мне годами, та, что помнила каждую насмешку, каждое «псих», каждое «странный», — твердила: *будь осторожен, не обольщайся, люди не меняются, и девушки вроде неё не дружат с парнями вроде тебя просто так.*

Я зашёл в хижину, и дверь скрипнула знакомым скрипом, который я слышал с детства и который означал «ты дома», и поставил доску аккуратно к стене, туда, где она всегда стояла, рядом со старой доской деда, которая давно уже не годилась для сёрфинга, но которую я не мог выбросить, потому что она пахла его табаком и его историями. В хижине было темно, только лунный свет пробивался сквозь окно, рисуя на полу серебряные квадраты, и тишина, обычно успокаивающая, сегодня казалась слишком громкой, слишком настойчивой, как будто она требовала, чтобы я разобрался в себе.

Я не стал зажигать лампу. Просто вышел обратно босиком, в той же футболке, что была на тренировке, и направился к океану, потому что только там, у воды, в компании голосов, которые никогда мне не лгали, я мог найти ответы. На дворе уже совсем стемнело, и звёзды высыпали на небе, как соль на чёрном столе, и Млечный Путь тянулся через весь небосвод, и я шёл по тропинке, которую знал наизусть, и с каждым шагом голоса становились громче, отчётливее, радостнее.

— Райан идёт! — зазвенел высокий голос, тот, что принадлежал прибрежной волне, всегда встречавшей меня первой.

— И вновь здравствуй, Райан! — подхватил второй, пониже, посерьёзнее.

— Наконец-то он поговорит с нами! А то при Звёздочке стеснялся отвечать нам! — третий, озорной, с нотками смеха.

Я сел у кромки воды, и ступни мои погрузились в мокрый песок, а волна, набежавшая на берег, мягко обвила щиколотки, как верный пёс, который рад видеть хозяина, и я почувствовал, как напряжение этого дня — тренировка, Гаррет, Скай, её слова, её глаза, её «я не тварь», — понемногу отпускает, растворяется в соли, в ритме, в музыке, которая звучала во мне и вокруг меня.

— Простите, — сказал я тихо, и мои пальцы чертили на песке невидимые узоры, — я не хотел при ней отвечать. Не хотел, чтобы она подумала, что я сумасшедший. Хотя, кажется, она и так так думает.

— Мы понимаем тебя, Райан! — глубокий голос, тот, что шёл из жёлоба на дне, прозвучал тепло, понимающе.

— Ну так что, вы теперь друзья? — молодой голос, любопытный, нетерпеливый.

— А ты что, не слышал, как он злился, когда к нему и Звёздочке подошёл тот дурак? — вмешался другой, постарше.

— Слышал! Слышал! — зазвенели голоса наперебой.

— Так вы.. — я замер, и моя рука, чертившая узоры на песке, остановилась, — вы слышали их разговор? Тот, после тренировки? С Гарретом?

— Конечно! — хор голосов прозвучал так синхронно, что на секунду мне показалось, будто сам океан ответил мне одним огромным, всеобъемлющим голосом.

Я закусил губу, чувствуя, как внутри меня борются два желания: попросить их рассказать всё в деталях, или заткнуть уши и не слушать, потому что если они скажут, что Скай меня обманывала, что Гаррет был прав, что всё это было игрой, я не знал, что буду делать. Но голоса никогда мне не лгали, и если уж спрашивать, то у них.

— А вы можете... — я запнулся, и слова застряли в горле, — сказать, о чём они говорили?

— Тот дурак ревновал! — выпалил высокий голос, и в нём было столько возмущения, столько праведного гнева, что я почти улыбнулся.

— Да! Да! Точно ревновал! — подхватили остальные. — Он говорил, что ты неудачник. Райан, он нам не нравится! Он в океане ведёт себя так, будто он хозяин! Будто волны должны ему подчиняться, а он не слушает, он приказывает, он ломает воду, а не танцует с ней! Но хозяин — мы! Мы — океан! А он просто гость, который забыл, как нужно себя вести!

— А.. — я сглотнул, и следующее слово далось мне труднее всех предыдущих, — а Скай что говорила?

Голоса на мгновение затихли, не потому что им нечего было сказать, а потому что они, кажется, переглядывались между собой, как делали всегда, когда собирались рассказать что-то особенно важное, а потом заговорили все разом, перебивая друг друга, и в их голосах было столько тепла, столько радости, что у меня перехватило дыхание.

— А Звёздочка тебя защищала! Она сказала, что ты не неудачник!

— Она сказала, что твой сёрфинг — это искусство! Что ты обалденный!

— Она сказала, что ты ей интересен, и что ей нравится твоя искренность!

— Она сказала, что ты единственный, с кем ей интересно!

— Нам нравится Звёздочка! Она очень милая! Она громкая, да, и от неё много шума, но она добрая! Мы чувствуем это! Мы чувствуем, когда люди добрые, а когда злые, — и она добрая!

— Да! Очень милая! И она хочет поехать с тобой на пляж со светящимся планктоном! Ты должен согласиться, Райан! Это будет красиво! Мы подсветим вам воду, честно слово!

Я сидел на песке, чувствуя, как волны лижут мои ступни, и внутри меня что-то таяло, лёд, который я носил в себе годами, который защищал меня от людей, но и душил одновременно, и я вдруг понял, что голоса не лгут. Они никогда не лгали. И если они говорят, что Скай меня защищала, значит, так оно и было. Если они говорят, что она добрая, значит, так оно и есть. И всё, что она говорила мне там, на тропинке — про дядю, про чувства, про то, что я ей интересен, — было правдой.

— Она правда так сказала? — прошептал я, и мой голос, сорванный, хриплый, прозвучал в тишине так жалко, что мне самому стало стыдно.

— Правда, правда, правда! — зазвенели голоса. — Она так и сказала! Слово в слово! Мы не умеем врать, Райан, ты же знаешь! Мы — океан, а океан не врёт!

Я закрыл глаза, и слёзы — горячие, солёные, — покатались по моим щекам, смешиваясь с океаном, и я не пытался их остановить, потому что это были хорошие слёзы, очищающие, как дождь после долгой засухи. Никто никогда не называл меня крутым. Никто никогда не говорил,

что мой сёрфинг — искусство. Никто, кроме деда, не смотрел на меня так, как смотрела она, — с любопытством, да, но и с уважением, с интересом, с тем самым огоньком, который говорил: *«Ты мне важен»*.

— Спасибо, — сказал я тихо, и голоса вокруг меня зашептались радостно, запели, засмеялись, и прибрежная волна лизнула мою ладонь, как будто хотела сказать: *«Мы же говорили, мы же предупреждали, что Звёздочка — хорошая»*, — и я впервые за долгое время почувствовал, что, возможно, я не один, возможно, у меня может быть друг, возможно, Скай Рамирес — это не очередной человек, который посмеётся надо мной и уйдёт, а тот самый человек, который останется.

Я присидел так ещё долго — глядя на звёзды, слушая истории океана, чувствуя, как внутри меня что-то меняется, что растёт надежда, — и когда наконец поднялся, отряхнул песок с ладоней и пошёл обратно к хижине, я знал, что завтра, когда увижу её, я не буду больше прятаться. Я не буду больше молчать. Я, может быть, даже скажу ей «привет» первым — и не потому что должен, а потому что хочу, потому что она, кажется, действительно настоящая. И, может быть — только может быть, — я тоже могу быть настоящим. Рядом с ней.

Я вошёл в хижину, и тишина, встретившая меня, была уже не той гнетущей, что раньше, а какой-то умиротворённой, как будто сам дом выдохнул вместе со мной после долгого дня. Пальцы привычно нащупали коробок, чиркнули спичкой, и керосиновая лампа, стоявшая на столе, зажглась тёплым жёлтым светом, отбросив на стены знакомые тени: доска у стены, старая фотография деда, полка с ракушками, собранными за годы, и я сел на кровать, чувствуя, как пружины прогибаются подо мной, и уставился на свою доску, которая блестела в свете лампы, всё ещё мокрая после вечернего заезда.

И тут в голове у меня, как это часто бывало в тишине, всплыли слова деда, которые он сказал мне однажды вечером, когда мы сидели на крыльце, глядя на закат, и он был непривычно задумчив, непривычно тих, и его голос, обычно ровный, звучал с какой-то щемящей ноткой.

«Знаешь, Райан, однажды я встретил девушку, которая была для меня всем. Я любил её настолько, что хотел вырвать себе сердце и вручить ей его в руки — просто чтобы она знала, что оно бьётся только ради неё. Но она была до жути суетливой — вечно что-то говорила, смеялась, двигалась, не могла усидеть на месте, наполняла дом шумом, и я, привыкший к тишине, иногда сходил с ума от этого. Я готов был умереть сам, лишь бы хоть на миг услышать тишину. Понимаешь? Хоть на миг. И если ты однажды встретишь такую — громкую, неугомонную, от которой у тебя звенит в ушах, — не желай этого. Берегись своих желаний, Райан. Потому что когда она уехала — а она уехала, — я больше её не видел. И мне было так одиноко. Так тихо. Будь она тебе просто другом или любовью всей твоей жизни — не желай услышать хоть раз тишину. Потому что потом эта тишина тебя сожрёт. Медленно, по кусочку, день за днём, пока от тебя самого не останется только оболочка».

Я хмыкнул в темноте, и мой смешок прозвучал глухо, без веселья. Тогда, когда дед рассказывал это, я не понял, о чём он. Я был слишком мал, слишком погружён в свои собственные страхи, чтобы разбираться в чужих. Но сейчас — сейчас его слова отозвались во мне с такой силой, что я поёжился, хотя в хижине было тепло. Скай. Суетливая, громкая, неугомонная. Она заполняла собой всё пространство, где бы ни находилась, и когда она была рядом, я действительно мечтал о тишине, но когда она уходила, когда она ушла с Гарретом, пусть даже чтобы отшить его, внутри меня что-то сжималось, и тишина, которую я получал, была не утешительной, а гулкой, как пустой зал.

Мои глаза скользнули по комнате и остановились на старом сундуке, стоявшем в углу, деревянном, окованном медными полосками, потемневшими от времени. Дед приказал никогда не открывать его. *«Там нет ничего, что тебе нужно знать, — сказал он однажды, и его голос был твёрже, чем когда-либо. — Просто старые бумаги. Дай слово, что не полезешь»*. Я дал слово. Мне было двенадцать, и слово, данное деду, было свято, но сейчас мне было два-

дцать, деда не было в живых уже три года, а сундук стоял и смотрел на меня, и что-то внутри меня, то ли желание понять, то ли просто усталость от всех секретов, которые меня окружали, толкало меня к нему.

Я встал с кровати, чувствуя, как половицы поскрипывают под босыми ногами, и подошёл к сундуку. Замок был старым, проржавевшим, и когда я нажал на него, он поддался с тихим щелчком, как будто только и ждал, чтобы его открыли. Крышка поднялась, и в нос ударил запах старой бумаги, пыли и может быть, табака, который дед курил когда-то, может быть, времени, которое застоялось в этом сундуке на десятилетия. Внутри лежали бумаги, пожелтевшие, хрупкие: какие-то письма, перевязанные бечёвкой, открытки с видами Сан-Франциско, старые фотографии, на которых я не узнавал лиц, и среди всего этого — дневник. Небольшой, в потёртом коричневом переплёте, с золотым тиснением, почти стёршимся от времени.

Я взял его в руки — осторожно, как берут хрупкую ракушку, которую боишься раздавить, — и открыл первую страницу. Почерк был деда — я узнал его сразу, эти ровные, чуть наклонённые вправо буквы, которыми он подписывал открытки на мой день рождения. Дата в углу страницы: 1947 год.

«Я впервые услышал какие-то голоса. Они становятся сильнее каждый раз, когда я подхожу к океану, и это сводит меня с ума. Сегодня я стоял у кромки воды, и волна, набежавшая на песок, сказала мне: "Привет, Томас". Я обернулся — сзади никого не было. Только чайки. Я сказал об этом маме, а она ответила, что я сочиняю, что у меня слишком богатое воображение, что мне нужно больше играть с другими детьми и меньше сидеть у воды. Но я не сочиняю. Я правда их слышу. И они звучат так, будто знают меня. Будто ждали. Видимо, я сумасшедший. Видимо, мама права. Но почему тогда мне не страшно? Почему мне хочется вернуться и послушать ещё?»

Я перевернул страницу, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Я слышал пару раз его истории, но они были поверхностные, а тут настоящий клад.

«1947 год, ноябрь. Я больше не говорю маме о голосах. Она всё равно не верит, а папа только смеётся и говорит, что из меня выйдет великий сказочник. Но я не сказочник. Я просто слышу то, чего не слышат другие. Сегодня океан рассказал мне про корабль, который затонул у берегов Японии двадцать лет назад, — про то, как моряки кричали в темноте, а вода уносила их голоса в глубину. Я плакал, сидя на песке, и волны лизали мои ноги, утешая. Они говорят, что я — Слышащий. Что я один из немногих. Что у меня есть дар. Если это дар, то почему он такой тяжёлый?»

Я оторвался от дневника и посмотрел на фотографию деда на стене, где он стоит с доской, молодой, счастливый, и вдруг понял, что он прожил всю жизнь, нося в себе ту же тайну, что и я, тот же груз, то же одиночество. И он никогда не говорил мне об этом прямо — только намёками, только легендами.

Я снова опустил глаза к дневнику и перевернул ещё одну страницу. Почерк стал более размашистым, более взволнованным — как будто дед торопился записать что-то, что не могло ждать.

«1948 год, март. Я встретил девушку. Её зовут Эвелин, но все называют её Иви. Она приехала с родителями из Сан-Франциско на лето, и я впервые увидел её на пляже — она стояла по колено в воде и смеялась, и её смех был громче прибоя. Я подумал: "Боже, какая она шумная". А потом она посмотрела на меня — и я пропал. Она говорит, что я странный. Что я слишком много молчу. Но ей это нравится. Она сказала: "Ты молчишь так, будто слушаешь что-то важное. Что ты там слышишь, Томас Брукс?" И я чуть не рассказал ей про голоса. Чуть не признался. Но испугался — вдруг она тоже скажет, что я сумасшедший? Лучшие буду просто странным. Странный — это не страшно. Сумасшедший — страшно».

Я перевернул страницу, и строки поплыли перед глазами, потому что в свете лампы чернила, выцветшие за десятилетия, казались почти прозрачными, но я всё равно читал — жадно, быстро, как человек, который много лет искал ответ и наконец нашёл его.

«1948 год, июнь. Я всё-таки рассказал Иви. Не планировал, не готовился — просто однажды вечером мы сидели на скале, свесив ноги в воду, и океан был особенно громким, особенно настойчивым, и я, не подумав, ответил ему вслух. Иви замерла. Я думал — сейчас она засмётся, или отодвинется, или скажет, что я псих. Но она вместо этого спросила: "Что он тебе сказал?" Понимаешь? Не "ты с кем разговариваешь?", не "ты сумасшедший?", а "что он тебе сказал?" — как будто она тоже его слышала, как будто для неё это было нормально. И тогда я признался во всём: про голоса, про то, что слышу их с детства, про то, что океан — живой, и он говорит со мной, и я не знаю, дар это или проклятие. Она слушала молча. А потом взяла мою руку — просто взяла и сжала, — и сказала: "Я тебе верю. Я не знаю, как это работает и почему, но я тебе верю". И в этот момент я понял, что люблю её. Не просто влюблён — а люблю так, как любят один раз в жизни. Так, что сердце не помещается в груди».

Я оторвался от дневника и провёл ладонью по лицу, чувствуя, как пальцы дрожат. Дед писал об этом так просто, так честно, что у меня перехватывало дыхание, и я вдруг подумал о Скай — о том, как она сказала мне в столовой: «Я тебе верю». Почти теми же словами.

Я перевернул ещё одну страницу.

«1948 год, август. Сегодня Иви сделала кое-что странное. Мы были на пляже, и я рассказывал ей про голоса, про то, как океан поёт разными голосами, — и вдруг она разозлилась на что-то, какую-то мелочь, я уже не помню, — и вода вокруг неё вскипела. Не в переносном смысле — в прямом. Волны, которые только что лизали песок, вдруг отхлынули, а потом вернулись с такой силой, что нас едва не сбilo с ног. Иви сама испугалась. Сказала, что не понимает, как это вышло, что она не хотела, что это просто эмоции. Я успокоил её, но внутри у меня всё похолодело. Я слышал про таких — про тех, кто не слышит океан, но управляет им. В легендах их называют Повелевающими. И если Иви — одна из них, то это многое объясняет. И многое пугает. Потому что Слышащий и Повелевающая — это либо величайший союз, либо катастрофа. Третьего не дано».

Я перевернул ещё одну страницу, чувствуя, как внутри меня всё сжимается. Слышащий и Повелевающая. Дед и его Иви. Я и Скай. Всё повторялось — с той же пугающей точностью, с какой волны накатывают на берег.

«1949 год, январь. Я сделал ей предложение. Она сказала "да". Мы стояли на том самом месте, где впервые встретились, и волны пели нам что-то радостное, и я был счастлив. По-настоящему счастлив. Я думал, что мы справимся со всем — с её даром, с моими голосами, с косыми взглядами, с непониманием. Я думал, что любовь победит всё. Каким же я был дураком».

«1949 год, апрель. Мы поссорились. Она сказала, что я слишком много молчу. Что я слушаю океан больше, чем её. Что ей одиноко рядом со мной, хотя я рядом. Я пытался объяснить — голоса не спрашивают разрешения, они просто звучат, и я не могу их выключить, даже если бы хотел, — но она не слушала. Иви, когда злилась, была страшна. Буквально. Вода вокруг неё закипала, волны поднимались стеной, и я видел, как она сама пугается того, что с ней происходит, но ничего не может поделать. А я не мог ей помочь. Слышащий не может контролировать Повелевающую. Он может только быть рядом. И надеяться».

«1949 год, май. Она уехала. Сказала, что ей нужно время, что она не справляется, что её дар сводит её с ума, а я со своими голосами делаю только хуже. Я стоял на берегу и смотрел, как её автобус исчезает за поворотом, и океан молчал. Впервые в жизни — молчал. Не говорил ни слова. Как будто тоже оплакивал её. И я понял, что желал тишины — и вот она. Тишина, которая сожрёт меня заживо».

Я перевернул последнюю страницу — дальше шли пустые листы, пожелтевшие, нетронутые. Дед больше ничего не написал или не захотел, или не смог, или решил, что дальше только боль, которую не нужно хранить на бумаге. Я закрыл дневник, и мои руки дрожали, и в горле стоял ком, и я не знал, что мне делать с этим знанием: тяжёлым, как камень, который я только что поднял со дна.

Дед потерял свою Иви. Она уехала и он остался один — с тишиной, которая его сожрала. И теперь я, его внук, стоял на том же пороге: Скай — Повелевающая, я — Слышащий, и всё повторялось, как будто океан решил поставить один и тот же спектакль во второй раз, с новыми актёрами, но с тем же сценарием.

Что, если я тоже не смогу ей помочь? Что, если она тоже уйдёт — или я её оттолкну, или мы поссоримся, и её сила выйдет из-под контроля, и всё закончится так же, как у деда?

Я убрал дневник обратно в сундук и закрыл крышку, но замок застёгивать не стал — пусть остаётся открытым. Хватит секретов. Хватит прятаться. Я сел обратно на кровать и долго смотрел на лампу, на то, как пламя колышется в стекле, и мысли мои кружились, как мотыльки, но одна из них — самая яркая, самая настойчивая — горела яснее всех: я не хочу повторить судьбу деда. Я не хочу, чтобы Скай ушла. И ради этого я готов сделать то, чего дед, возможно, не смог: говорить. Не молчать, не прятаться, быть рядом не как тень, а как человек, как друг, как кто-то больший, если она захочет, потому что тишина, которую я слышал, когда думал, что потерял океан, — эта тишина была лишь тенью той, что пережил дед. И я не хочу узнать, какова она на вкус, когда она настоящая.

Глава 11. Прилив надежды

*Ты пришёл к морю с вопросом, а оно
тебе камушек под ноги подкатило.*

Гладкий. С дыркой. Вот и ответ.

Носи на шее и не спрашивай больше.

Скай Рамирес

Скай

Утро настигло со своей ленью, и я сонная пошебуршала в ванную, шлёпая босыми ногами по прохладному полу, и каждое движение давалось с трудом, как будто мои мышцы ещё помнили вчерашнюю тренировку и не хотели просыпаться, но солнце, уже залившее кухню золотым светом, не оставляло выбора — день начался, и я должна была начаться вместе с ним. Потянулась с кряхтением, которое Джексон называл «медвежьим», и заплела волосы в быстрый, небрежный хвост, чтобы не лезли в лицо, а потом, всё ещё щурясь спростонья, потянулась к крану, даже не глядя на него, и мои пальцы были в паре сантиметров от вентиля, когда вода включилась сама.

Я замерла. Вода текла — спокойно, ровно, не так, как в прошлый раз у коровника, когда она хлынула с мощью пожарного гидранта, а именно спокойно, мягко, как будто кран решил проявить вежливость и избавить меня от лишнего движения. Я отдёрнула руку — вода перестала течь. Медленно, почти задумчиво, снова потянулась — и вода снова потекла, послушно, тихо, словно собака, которая ждала команды. Отдёрнула — перестала. Потянулась — потекла. Отдёрнула — перестала. Потянулась — потекла. Это было так просто, так странно, так захватывающе, что я заигралась, забыв обо всём, и на который раз, увлечшись, сделала слишком резкое движение — и вода ударила из крана мощной струёй, обдав раковину фонтаном брызг, и я, взвизгнув, поспешно закрутила вентиль руками, как нормальный человек.

Тишина. Я стояла, глядя на свою руку, на пальцы, которые только что — или мне показалось? — управляли водой без прикосновения, и внутри меня зарождалось что-то, чему я боялась дать название, но что ощущалось как восторг, смешанный с ужасом.

— Неужели получилось? — прошептала я, и мой голос, хриплый со сна, прозвучал в пустой ванной как-то слишком громко.

Я рванула обратно в комнату, к стакану, что стоял на полу уже несколько дней, моему безмолвному сопернику, моему личному врагу, — схватила его, налила воды из чайника, поставила перед собой и встала в боевую стойку, расставив ноги на ширине плеч. Стакан ответил мне всё тем же равнодушным молчанием, но сегодня я была настроена решительно.

— Ну давай, поганая водичка, — я встряхнула руками, затопталась на месте, разминая запястья, как профессиональный боксёр перед выходом на ринг, и вскинула руку вперёд, целясь в стакан: — Авакидабра!

Ноль реакции. Вода в стакане осталась такой же неподвижной, как моя вера в учебники по физике.

— Да ты издеваешься?! — мой крик, наверное, разбудил чаек за окном. — Чёртова вода, слушайся меня! Шазам! Бах! Пиу! Вода, взлети! Да твою ж мать!

Я схватилась за голову, запустив пальцы в волосы, и зарычала: низко, утробно, как раненый зверь, а потом махнула рукой, сдавшись, и поплелась обратно в ванную чистить зубы, как обычный человек, который не управляет стихиями, не слышит океан и вообще живёт в трезвом уме и твёрдой памяти.

Спустя час я была готова и стояла у пикапа, ожидая дядю. За этот час больше ничего не произошло: ни один кран не включился сам, ни один стакан не взорвался, ни одна лужа не

поднялась в воздух, и я, привалившись плечом к дверце, убеждала себя в том, что утреннее происшествие было просто совпадением. Опять. Как всегда.

Чёрт, Скай, хватит думать, что ты какая-нибудь фея, или водяная, или ведьма! Просто чёртова вода и чёртовы трубы над тобой издеваются, а ты ведёшься, как ребёнок на фокусы.

— Привет, детка. Долго ждала? — голос Джексона вырвал меня из размышлений, и я, вздрогнув, обернулась.

— Нет, две минуты тут жду, — соврала я, хотя на самом деле простояла все пятнадцать, но ему не обязательно было об этом знать.

— Запрыгивай.

Я села в кабину, и знакомая смесь запахов — сандал, табак, которым он не курил, деревянная стружка, — обняла меня, как старое одеяло, и я пристегнулась, чувствуя, как напряжение этого безумного утра наконец-то начинает отпускат. Пикап зарычал, чихнул и вырулил на Главную улицу, и Ковилл поплыл за окнами — «Солёный тюлень», причал, эвкалипты, — и всё это было таким привычным, таким родным, что я почти забыла о том, что произошло в ванной.

— У тебя день рождения уже через три дня, — Джексон покосился на меня, не отрывая рук от руля, — и меня не отправят в порт, я отпросился.

— Правда? — я повернулась к нему, и моё лицо, наверное, осветилось такой радостью, что он усмехнулся в усы. — Здорово! Я очень рада! А то я уже думала, что ты пропустишь мой праздник и будешь там, в порту, таскать ящики.

— Не дождёшься, — он подмигнул мне, и в этом подмигивании была вся его любовь, которую он никогда не выражал словами, но всегда — жестами. — Ты ещё не открыла ту коробочку?

— Нет, — я покачала головой, и мой хвост мотнулся из стороны в сторону, — жду дня рождения. Как ты и просил.

— Вот и молодец, — он одобрительно кивнул, и несколько минут мы ехали молча, слушая, как ветер свистит в открытом окне, и я смотрела на океан, который блестел в утреннем свете, как гигантское зеркало, и мысли мои кружились вокруг Райана, вокруг вчерашнего разговора на тропинке, вокруг его «верю», которое до сих пор звучало у меня в голове, как музыка.

— Эм... дядя.. — начала я, и мой голос прозвучал неуверенно, что было мне совершенно несвойственно.

— Да? — он повернул голову, и его глаза, цвета выцветшей бирюзы, смотрели на меня с тем вниманием, которое всегда появлялось, когда я говорила о чём-то важном.

— Я, наверное, всё же позову одного человека. На день рождения. Кроме Мариссы, Марко и Финна.

— Да? — его брови поползли вверх, и в голосе зазвучало любопытство. — И кого же?

— Его зовут Райан Брукс. Ну, помнишь, на последних соревнованиях он не пришёл на награждение? Ты ещё говорил, что видел его на пляже рано утром, и что его стиль — как музыка.

— А, точно, помню, помню, — Джексон кивнул, и его усы дрогнули в улыбке, — Тихий довольно парень. Серфит, как бог, а на людей смотрит так, будто они ему мешают. И вы.. ну.. — он замаялся, явно подбирая слово, — встречаетесь, или..

— Мы просто дружим! — выпалила я, чувствуя, как щёки заливают румянец, и мой голос, вопреки моему желанию, прозвучал на полтона выше обычного. — Боже, дядя, почему все вокруг думают, что если парень и девушка общаются, то они обязательно встречаются? Мы просто дружим тли, может быть, начинаем дружить. Я ещё не уверена, но он классный. И я хочу, чтобы он пришёл, если ты не против.

— Я не против, — Джексон пожал плечами, но его улыбка стала шире, и в глазах заплясали те самые смешинки, которые появлялись всегда, когда он надо мной подшучивал. — Про-

сто дружите, значит. Ну-ну. А то, что ты краснеешь как помидор, когда говоришь о нём, — это, наверное, тоже часть дружбы?

— Я не краснею! — возмущилась я, хотя чувствовала, что краснею, и от этого краснела ещё больше, и Джексон засмеялся смехом, тёплым, хриловатым, который я любила больше всего на свете, и я, ворча, отвернулась к окну, но мои губы сами собой растянулись в улыбке.

— Ладно, ладно, не кипятись, — он поднял одну руку в примирительном жесте, а второй продолжал держать руль, — я рад, что у тебя появился друг. Настоящий друг — это редкость. И если этот Райан Брукс действительно такой, каким ты его описываешь, тихий, но талантливый, странный, но в хорошем смысле, то я буду рад с ним познакомиться. Тем более что он, кажется, тоже слышит океан.

Я резко повернулась к нему, и мои глаза, наверное, стали размером с блюда.

— Что? Откуда ты..

— Скай, — Джексон вздохнул, и его голос стал серьёзнее, — я видел его на пляже. Не один раз. И я видел, как он разговаривает с водой. Не так, как ты — с сарказмом и криками, — а по-настоящему. Как будто вода ему отвечает. Я, знаешь ли, не вчера родился. И я знаю, что в этом мире есть вещи, которые наука объяснить не может. Просто будь осторожна. Вы оба. Потому что такие люди, как вы, — они притягивают друг друга, но иногда это притяжение заканчивается не так, как хочется.

— Ты говоришь прямо как профессор Винтер, — пробормотала я, и мой голос прозвучал тише, чем мне хотелось.

— Значит, Винтер — умный человек, — Джексон улыбнулся краешком губ, и мы свернули к воротам кампуса, где пикап, чихнув на прощанье, остановился. — Хорошего дня, детка, — он потрепал меня по макушке, и его ладонь была тёплой, шершавой, пахнувшей деревом и сандалом.

— И тебе, — я выпрыгнула из кабины, хлопнула дверцей и помахала ему вслед, и пикап, дребезжа, скрылся за поворотом, оставив меня одну на парковке, полную чужих машин, под огромным небом, которое сегодня казалось мне почему-то особенно синим.

Я развернулась и зашагала к корпусу, и мои конверсы стучали по асфальту в такт моим мыслям.

Я зашла в корпус университета, и двери, пропахшие хлоркой и старым линолеумом, захлопнулись за моей спиной, отсекая утреннее солнце и шум парковки, и я направилась к шкафчикам, чувствуя, как внутри меня всё ещё бурлит странная смесь из утреннего эксперимента с краном. В коридоре было ещё немногочисленно — первые пары начнутся через полчаса, и только редкие студенты слонялись туда-сюда с учебниками и стаканчиками кофе, и я, напевая себе под нос какую-то дурацкую песню, которая застряла в голове после вчерашнего TikTok*, подошла к своему шкафчику.

Песня была про океан, кажется, что-то из старого, что крутили по радио, когда я была мелкой, и я мурлыкала её, прокручивая код 5-6-9-2, и дверца открылась с привычным скрипом. Рюкзак, однако, был категорически против того, чтобы помещаться в шкафчик. Я пихала его — он упирался. Я переворачивала его набок — он выпирал. Я прижала коленом, надавила плечом, прошипела сквозь зубы *«да залезь ты уже, чёртова сумка»*, и наконец, с победным хлопком, дверца закрылась. Я выдохнула, отряхнула руки и повернулась, и тут же дёрнулась с криком, потому что прямо рядом со мной, прислонившись плечом к соседнему шкафчику, стоял Райан Брукс.

— И тебе привет, — сказал он, и его голос, ровный, с ноткой, которая появлялась, когда он почти улыбался, прозвучал так буднично, как будто он стоял здесь каждое утро, дожидаясь меня.

— Чёрт, ты меня напугал! — я прижала ладонь к сердцу, которое колотилось где-то в горле, и перевела дыхание. — И стоп. Ты сказал «привет»? — до меня дошло с опозданием в

пару секунд, и мои глаза, наверное, стали размером с блюда. — Ого, Брукси, твой словарный запас пополняется! «Привет», яв восторге. Скоро ты начнёшь декламировать Шекспира.

— Спасибо, — ответил он, и в его голосе не было ни сарказма, ни колючести, только спокойное принятие моего подкола, и это было так неожиданно, что я на секунду потеряла дар речи.

— О боже мой! — я всплеснула руками, и мой рюкзак, который я всё ещё придерживала коленом, наконец сдался и уполз в шкафчик окончательно. — Тебя что, подменили? У тебя жар? Эти дни? Может, ты ударился головой на тренировке и теперь у тебя амнезия, и ты забыл, что должен быть угрюмым и нелюдимым?

— Что ты несёшь, — спросил он, и тут случилось нечто, от чего весь мой внутренний монолог споткнулся и полетел кувырком: он улыбнулся. Не хмыкнул, не усмехнулся краешком губ, а именно улыбнулся — открыто, тепло, и его глаза, тёмные, глубокие, как океан на рассвете, осветились изнутри, и его лицо, обычно замкнутое, вдруг стало совсем другим — мягче, моложе, красивее, — и я замерла, уставившись на эту улыбку, как под гипнозом.

Чёрт. А он действительно симпатичный. Нет, не просто симпатичный — он красивый, по-настоящему красивый, с этими карими глазами, с этими тёмными волосами, которые падают на лоб, с этой линией челюсти, очерченной, как береговая линия на карте, и я вдруг поймала себя на мысли, что он, кажется, в моём вкусе. Не Гаррет, с его голливудской внешностью и самодовольством, а вот такой — тихий, странный, с голосами в голове и улыбкой, которая появляется раз в сто лет и от этого становится ещё ценнее. Так, стоп! О чём ты вообще думаешь, чёрт тебя дерь? Скай, возьми себя в руки, ты же только сегодня говорила дяде, что вы просто друзья!

— Приём, Рамирес, — Райан помахал ладонью перед моим лицом, и я моргнула, возвращаясь в реальность, — здесь?

— Да? Да! Я здесь! — я выпалила это слишком громко, слишком поспешно, и мой голос, кажется, дал петуха на слове «здесь», и я неловко похихикала, чувствуя, как щёки заливают румянец, и проклиная себя за то, что веду себя как полная дура перед парнем, который только-только перестал меня подозревать в заговоре с Гарретом. — Просто задумалась. О своём. О об антропологии. Очень сложный предмет. Много... эм.. терминов.

— Ты задумалась об антропологии, глядя на меня? — он приподнял бровь, и в его голосе зазвучало то самое веселье, которое я уже слышала на тренировке, когда он говорил, что я громкая, как чёрт из табакерки.

— Нет! — я вскинула руки, протестуя, и мой хвост мотнулся из стороны в сторону. — То есть да! То есть неважно. Что ты здесь делаешь? Ты же обычно прячешься где-то в тени, пока не начнутся пары, и не подкрадываешься к людям.

— Ждал тебя, — сказал он просто, и от этих двух слов у меня внутри что-то перевернулось, хотя я запретила себе переворачиваться. — Ты вчера говорила про одиночный заплыв. И про пляж с планктоном. Я подумал может, в эти выходные? Если ты ещё хочешь.

Я уставилась на него, и мой рот, наверное, приоткрылся, потому что он снова улыбнулся — на этот раз чуть менее открыто, но всё равно тепло, — и я вдруг поняла, что Райан Брукс только что сам, по собственной инициативе, предложил мне провести время вместе. Не я к нему пристала, не я его заставила — он сам. И это было, наверное, самым большим прогрессом в истории наших отношений, какими бы они ни были.

— Хочу, — выдохнула я, и мой голос, к моему собственному удивлению, прозвучал почти нормально, — конечно, хочу. В эти выходные. Послезавтра у меня день рождения, так что в субботу — идеально. Если ты не против совместить планктон и праздник.

— У тебя день рождения? — он нахмурился, и его брови сдвинулись к переносице. — Почему ты не сказала?

— А ты не спрашивал, — я пожала плечами, и мой рот растянулся в улыбке, которую я не могла сдержать, — но теперь ты знаешь. Так что готовь подарок, Брукси. Ничего грандиозного — хватит твоей улыбки. Она, кстати, тебе идёт. Тебе вообще идёт быть... ну, не таким угрюмым.

Он отвёл взгляд, и его пальцы, сжимавшие лямку рюкзака, чуть напряглись, но улыбка не исчезла — только стала чуть более смущённой, и от этого ещё более настоящей.

— Я не угрюмый, — сказал он тихо, — я просто не привык.

— Привыкай, — я хлопнула его по плечу, и на этот раз он не вздрогнул, не отодвинулся, а просто принял этот жест, — потому что я не планирую никуда исчезать. А теперь пойдём, а то на пару опоздаем. У тебя, кстати, какая сейчас?

— Океанография, — он наконец поднял глаза, и в них, глубоких, как океан, который он слышал, мелькнуло что-то, похожее на предвкушение.

— У меня пара с Винтером, — я вздохнула, и мы зашагали по коридору, и наши шаги звучали в унисон, и я поймала себя на мысли, что идти рядом с ним — это приятно, это правильно, это как будто так и должно быть, но ничего ему об этом не сказала. Пока что. Может быть, когда-нибудь, может быть, на пляже со светящимся планктоном, под звёздами, когда тишина перестанет быть его защитой, а я перестану быть громкой, как чёрт из табакерки. Или хотя бы попробую.

Я вынырнула из мыслей о Райане, о его улыбке, о его «ждал тебя», о том, как он стоял, прислонившись к шкафчику, и выглядел при этом так, будто всю жизнь только и делал, что ждал меня по утрам, — и поняла, что если сейчас же не переключусь, то опоздаю на пару к профессору Винтеру, а опаздывать к Винтеру после вчерашнего разговора в его кабинете было бы верхом неблагодарности. Я влетела в аудиторию за минуту до звонка, взлетела по ступенькам на свой привычный верхний ряд и плюхнулась на стул, стараясь отдышаться и не выглядеть так, будто я только что пробежала стометровку.

Профессор Винтер уже стоял у кафедры, поправляя очки, и его взгляд на секунду задержался на мне, и в этом взгляде мне почудилось что-то вроде одобрения — или, может быть, просто узнавания, лёгкого кивка, который говорил: «А, мисс Рамирес, рад, что вы сегодня не прячетесь».

— Сегодня, — начал он, когда звонок стих и аудитория затихла, — мы поговорим о ритуалах, связанных с водой, в культурах Океании и не только. Тема обширная, но я постараюсь не утомлять вас излишними деталями, а вместо этого расскажу то, что вы вряд ли найдёте в учебниках.

Он прошёлся вдоль доски, и его голос, низкий, обволакивающий, начал плести знакомую магию, погружая аудиторию в мир, где вода была не просто стихией, а живым существом, с которым можно говорить, которому можно поклоняться, которого можно бояться. Он рассказывал про обряды инициации у маори, где юноши должны были переплыть залив в шторм, чтобы доказать свою взрослость, и про то, как старейшины выбирали для этого особенные дни, слушая ритм волн. Рассказывал про гавайских кахуна — жрецов, которые умели «читать» воду, предсказывая по цвету и движению волн не только погоду, но и судьбу человека. Рассказывал про балийский праздник Мелести, когда целые деревни идут к океану, чтобы очиститься от грехов, и про то, как вода в этот день, по поверьям, становится особенно «слушающей» — способной принимать молитвы и уносить их в глубину.

Я слушала, затаив дыхание, и моя рука, сжимавшая ручку, почти не двигалась — конспект оставался пустым, если не считать пары каракуль на полях, которые я рисовала машинально: волна, звёздочка, ещё одна волна. Всё, что он говорил, было про меня — не в прямом смысле, конечно, но каждая история, каждый ритуал, каждое упоминание о людях, которые могли слышать воду или управлять ею, отзывалось во мне эхом, как будто я была колоколом, а его слова — языком колокола. И когда он, ближе к концу пары, упомянул о полинезийском

понятии «мана» — жизненной силе, которая течёт через всё сущее, включая воду, и которую некоторые люди могут чувствовать острее других, — я поймала себя на том, что мои пальцы, лежавшие на столе, чуть подрагивают.

— Мана, — говорил профессор Винтер, расхаживая перед доской, — это не магия в европейском понимании. Это скорее чувствительность. Способность ощущать то, что скрыто от других. Рыбаки, обладавшие маной, могли найти косяк рыбы в открытом океане, не видя его, — они просто чувствовали воду, её вкус, её температуру, её ритм. Сёрферы — да-да, сёрферы, не удивляйтесь, — в древней Полинезии сёрфинг был не просто развлечением, а священным ритуалом, и лучшие из них утверждали, что волна говорит с ними, предупреждает об опасности, подсказывает, куда повернуть. Современные антропологи склонны списывать это на интуицию и опыт, но сами полинезийцы верили: это мана. Это дар океана. И дар этот либо есть, либо нет.

Я слотнула, и мой взгляд, блуждавший по аудитории, наткнулся на доску, где профессор выводил мелом схему — что-то про течения и миграции, — и подумала о том, что ещё вчера я бы посчитала всё это красивыми сказками. Но сегодня, после утреннего крана — сегодня эти сказки звучали иначе. Они звучали как правда, которую я боялась признать.

Под конец пары профессор Винтер, как обычно, отвлекся от учебного плана и пустился в одно из своих фирменных отступлений.

— Кстати, о воде, которая слушает, — он поправил очки, и его глаза блеснули, — есть одна легенда, которую вы вряд ли слышали. Она не входит в программу, но, думаю, вам будет интересно. Это старая микронезийская история с острова Яп, где до сих пор верят в духов воды, которых называют «макара». Так вот, согласно этой легенде, когда рождается человек, способный управлять водой, океан на секунду затихает. Полный штиль. Ни волны, ни ряби. Как будто сам океан задерживает дыхание, приветствуя новорождённого. А когда такой человек умирает — океан, наоборот, поднимает волны до небес, оплакивая его уход.

Он замолчал, обводя аудиторию взглядом, и я почувствовала, как внутри меня что-то дрогнуло.

— И самое интересное, — добавил он тихо, почти заговорщицки, — что такие люди, согласно легенде, никогда не бывают одиноки. Океан посылает им спутника — другого человека, который не управляет водой, но слышит её. Слышит так, как слышат музыку. И вместе они составляют пару. Не всегда романтическую — иногда дружескую, иногда наставническую, — но всегда неразрывную. Потому что мана одного дополняет ману другого, и только вместе они могут достичь того, чего не могут по отдельности.

Мои пальцы, сжимавшие ручку, побелели.

Когда прозвенел звонок, я не побежала к выходу, как обычно. Я сидела ещё минуту, глядя на пустую доску, на которой остались меловые разводы от схемы течений, и мысли мои кружились, как вода в воронке. А потом я встала, закинула рюкзак на плечо и пошла к двери, но у самого выхода профессор Винтер окликнул меня.

— Мисс Рамирес, — его голос прозвучал негромко, и я обернулась, — рад видеть, что вы сегодня не прятались. Надеюсь, лекция была полезной.

— Очень, — ответила я, и мой голос, к моему собственному удивлению, прозвучал твёрдо, — больше, чем вы можете себе представить.

Он кивнул — медленно, задумчиво, — и его глаза за стёклами очков смотрели на меня с тем самым выражением, которое я видела вчера в его кабинете: понимание, смешанное с терпением.

— Если у вас появятся ещё вопросы — вы знаете, где меня найти.

Я кивнула и вышла в коридор.

Я шла по коридору в сторону столовой, и в голове у меня крутилась одна-единственная мысль, навязчивая, как прилипчивая песня из TikTok*: нужно взять у него номер телефона.

У Райана. Потому что как-то странно дружить с человеком и не иметь возможности написать ему «эй, Брукси, ты где?» или «смотри, какую волну я сегодня поймала», или — что ещё важнее — «ты как там, не утонул в своей тишине?». А ещё потому, что после сегодняшнего утра, после его улыбки, после того, как он сам предложил съездить на пляж с планктоном, мне хотелось быть с ним на связи, не просто на тренировках, не просто в коридорах университета, а постоянно, как это бывает у нормальных друзей, которых, кажется, у меня никогда не было.

Я толкнула дверь столовой и вошла в привычный гул — звон подносов, чей-то смех, крик поварахи про то, что суп сегодня без гренков, и быстро окинула зал взглядом. За нашим столиком дальним, у окна, никого не было. За соседними — тоже. Райан не пришёл. И от этого внутри меня что-то сжалось, какая-то маленькая пружинка, о существовании которой я даже не подозревала до того, как он впервые мне улыбнулся, и я почувствовала лёгкий укол разочарования, смешанный с грустью, которую я запретила себе анализировать.

— Меня ищешь? — раздался голос за спиной, и я узнала его раньше, чем обернулась. — Или своего друга-неудачника?

Я развернулась и уставилась на Гаррета. Он стоял, скрестив руки на груди, и его лицо, обычно такое самоуверенное, было искажено смесью обиды и язвительности, и весь его вид кричал: «Я всё ещё здесь, я всё ещё главный герой этой истории, и я не собираюсь уходить».

— Не тебя, — ответила я ровным голосом, — иди слёзы в туалете пускай, как девчонка. Тебе идёт быть плаксой, кстати. Освежает образ.

Я развернулась, взяла поднос с металлической стойки и принялась выбирать себе еду, двигаясь вдоль раздачи и делая вид, что Гаррет — это просто назойливая муха, которая сейчас пожужжит и улетит.

— Уверена? — он не улетел. Он пошёл за мной, и его шаги звучали за моей спиной, как барабанная дробь. — Я от тебя не отстану, Скай. Ты можешь игнорировать меня сколько угодно, но я знаю: ты просто хочешь заставить меня ревновать.

— М-м-м, яблоко, — я взяла с витрины зелёное яблоко, самое блестящее, самое круглое, положила его на поднос и двинулась дальше, — возьму его. Полезно для здоровья. И для нервов.

— Не игнорируй меня, Скай, — его голос стал жёстче, и в нём прорезалась нотка, которая появлялась, когда он не получал того, чего хотел.

— Ох, сегодня макароны и куриная котлета, — я склонилась над витриной, разглядывая блюда с преувеличенным интересом, — беру. Выглядит аппетитно. Гораздо аппетитнее, чем некоторые люди в этом зале.

— Скай! — он почти рыкнул, и я почувствовала, как его ладонь легла на мой локоть, пытаясь развернуть меня к себе. — Я больше чем уверен, что ты хочешь заставить меня ревновать. Но это не работает. Потому что Брукс — никто, и ты сама это знаешь.

Я стряхнула его руку — резко, как стряхивают каплю дождя с плеча, — и повернула голову, встречаясь с ним взглядом.

— И возьму пирожное, — сказала я, кладя на поднос шоколадный эклер, и мой голос был таким же сладким, как крем внутри него.

— Я всё равно достучусь до тебя, — Гаррет сжал челюсти, и его глаза, карие, когда-то казавшиеся мне привлекательными, сейчас выглядели просто уставшими.

Я повернулась к нему полностью, поднос в руках, и посмотрела прямо в эти уставшие глаза, и мои губы растянулись в улыбке — вежливой, холодной, как вода в зимнем океане.

— Отвали, — сказала я безразличным тоном и пошла прочь, лавируя между столиками, ища свободное место, и моё сердце колотилось, хотя я запретила себе реагировать на Гаррета Уайлда, запретила давать ему власть над моими эмоциями.

Я нашла столик у окна, не тот, дальний, где обычно сидел Райан, а другой, поближе к выходу, поставила поднос, села и уже собиралась воткнуть вилку в котлету, когда на стул напротив меня кто-то опустился. Я подняла глаза, готовая снова послать Гаррета, — и замерла.

Райан сидел напротив, поставив свой поднос рядом с моим, и его лицо, всё ещё хранившее следы утренней улыбки, было спокойным, почти безмятежным.

— Привет, — сказал он, и это «привет» прозвучало так, словно он репетировал его всё утро.

— Привет, — я улыбнулась, и моя улыбка, в отличие от той, что я подарила Гаррету, была тёплой, настоящей, и я почувствовала, как напряжение, скопившееся за последние пять минут, уходит, растворяется, как сахар в чае. — Ты опоздал. Тут тут один придурок ко мне приставал, думала, ты его спугнёшь.

— Видел, — он кивнул в сторону двери, где ещё виднелась спина удаляющегося Гаррета, — я вошёл как раз когда ты говорила ему «отвали». Это было впечатляюще.

— Ты слышал? — я фыркнула и откусила кусок котлеты. — И что, даже не вмешался? Не бросился спасать даму в беде?

— Ты не дама в беде, — он взял вилку и начал наматывать спагетти, и его голос, ровный, прозвучал с интонацией, которая была у него на тренировке, когда он говорил, что я громкая, как чёрт из табакерки, — ты Скай Рамирес. Ты сама кого угодно спасёшь.

Я усмехнулась, и мой смех, короткий, отрывистый, смешался с шумом столовой.

— Ладно, Брукси, — я отложила вилку и подперла подбородок кулаком, глядя на него, — раз уж ты здесь и раз уж мы теперь вроде как друзья, дай мне свой номер телефона.

— Зачем? — он поднял бровь, и в его голосе не было ни подозрения, ни колючести, только лёгкое любопытство.

— Чтобы писать тебе, — я пожала плечами, — чтобы звать на тренировки, чтобы спрашивать, как дела, чтобы скидывать смешные видео. Ну, знаешь, как это бывает у нормальных людей. У нас, в Ковилле, это называется «дружба». Слышал о таком?

— Слышал, — он чуть заметно улыбнулся, и его пальцы, сжимавшие вилку, на секунду замерли, — но у меня нет телефона.

Я уставилась на него, и мой рот, наверное, приоткрылся, потому что в двадцать первом веке не иметь телефона было чем-то из области фантастики.

— Как нет? Совсем? А как же ты живёшь? Как ты общаешься с людьми?

— Никак, — он пожал плечами, и в этом пожатии была вся его суть, — я же говорил: я не общаюсь с людьми. До недавнего времени.

— Ладно, — я выдохнула, — это мы решим. Я подарю тебе телефон. На свой день рождения. Подожди, это же я должна получать подарки, а не дарить их. Короче, Брукси, мы что-нибудь придумаем, потому что я не собираюсь дружить с тобой только на тренировках и в столовой. Этого слишком мало.

— Слишком мало, — повторил он тихо, и его глаза, глубокие, как океан, встретились с моими, и в них мелькнуло что-то, чему я пока не могла подобрать названия, но что ощущалось как согласие, — ладно, Рамирес. Придумаем.

И мы ели молча, но это молчание было не таким, как раньше, не напряжённым, не колючим, а спокойным, уютным, как будто мы сидели за этим столиком всю жизнь и будто впереди у нас было ещё много таких обедов, много тренировок, много разговоров, и, может быть, даже пляж с планктоном, о котором я ему напомним, как только у него появится телефон.

Я доедала макароны, когда Райан, до этого молчаливо поглощавший свои спагетти, вдруг отложил вилку и спросил — тихо, но с интонацией, которая появлялась у него, когда он хотел узнать что-то важное, но боялся показаться навязчивым:

— А кто ещё будет? На дне рождения. Кроме меня.

Я отодвинула тарелку, вытерла губы салфеткой и откинулась на спинку стула, чувствуя, как внутри разливается тепло от того, что он спросил, от того, что ему действительно интересно, что он хочет знать, с кем ему предстоит провести вечер.

— Так — я загнула палец, — мой дядя Джексон. Тётя Марисса — она не совсем тётя, но мы её так называем, она держит кафе «Солёный тюлень» и печёт лучший лимонный пирог на всём побережье. Дед Финн — старый рыбак, он вечно ворчит, но на самом деле добрейший человек, и у него усы, в которых, кажется, живут мелкие птицы. И дядя Марко — у него магазинчик в Ковилле, где можно купить и консервы, и ласты, и открытки с видами залива, и он страшно гордится тем, что у него есть всё.

Я перевела дыхание, заметив, что Райан слушает меня внимательно, не перебивая, и его глаза, тёмные, глубокие, смотрели с выражением, которое я уже научилась распознавать, — он не просто слышал, он впитывал каждое слово, как сухой песок впитывает воду.

— Мне родной только дядя Джексон, — продолжила я, и мой голос стал чуть тише, — родителей у меня нет. Ну, то есть биологически-то они есть, но неважно. Джексон — это всё, что у меня есть. А остальные — просто наши близкие друзья, которые стали семьёй. Они тебе понравятся, правда. Марисса может быть слегка надоедливой — она будет предлагать тебе добавку каждые пять минут и спрашивать, почему ты такой худой, — но она очень милая. И готовит так, что можно язык проглотить.

— У тебя нет друзей больше, что ли? — спросил он, и его вопрос прозвучал не осуждающе, а скорее с искренним удивлением, как будто он не мог поверить, что кто-то вроде меня — громкая, дерзкая, вездесущая — может быть одинокой.

— Не-а, — я покачала головой, и мой хвост мотнулся из стороны в сторону, — я в них не особо нуждаюсь. Ну.. за исключением тебя. Ты не такой, как другие.

Я замолчала, понимая, что только что сказала, и мои щёки снова предательски потеплели, но я заставила себя продолжить, потому что, чёрт возьми, если уж быть честной, то до конца.

— Знаешь, я когда в университет только поступила, шла с целью «в этот раз я заведу себе друзей». В школе у меня, к слову, тоже не было друзей. Я была чудачкой из Ковилла, которая любила сёрфинг больше, чем общение, и носила ракушки в карманах, и разговаривала сама с собой на переменах. Со мной никто не хотел сидеть за одной партой. Ну, а в университете, понаблюдав за нашими студентами, я поняла, что так и останусь одиночкой. Все либо думают о деньгах, либо о сексе, либо о статусе, либо обо всём сразу, и я в эту картину не вписываюсь. Так что я решила: куплю себе дом возле океана, заведу десять кошек и одну собачку, буду рассекать океан на старости лет и умру в океане же. На доске. В девяносто пять лет. Волны унесут меня в закат.

— Очень.. интересно, — произнёс он, и его голос звучал так, словно он не знал, плакать ему или смеяться.

— Ага, — я кивнула, и мои глаза, наверное, горели огнём, который появлялся у меня всегда, когда я говорила о своих мечтах, — мне нравится такая идея. Но теперь я думаю, чтобы и ты купил себе дом рядом со мной. Ну, знаешь, два дома, разделённых забором из дикого винограда, и каждый вечер мы выходим на берег, и ты слушаешь океан, а я на него ору, потому что он не слушается меня, и мы умрём в океане вместе. Лет через сто. Когда нам обоим будет за девяносто.

— Как-то трагично не находишь? — он приподнял бровь, но его губы дрогнули, и я видела, что ему на самом деле не кажется это трагичным, что ему, возможно, даже нравится эта идея.

— А по-моему, круто, — я пожала плечами, и мой рот растянулся в улыбке, — два соци-офоба в компании с кошками, собачкой и нашим старым другом океаном. У нас будет самая странная коммуна на всём Тихоокеанском побережье. Можем даже табличку повесить: «Здесь живут два чудака. Просьба не беспокоить без крайней необходимости».

Райан опустил глаза, и его пальцы, сжимавшие вилку, чуть расслабились, и когда он снова поднял взгляд, в его глазах плескалось невесомое счастье.

— Ты правда хочешь, чтобы я был в твоём плане? — спросил он тихо, и его голос прозвучал так осторожно, словно он ступал по тонкому льду. — Состариться у океана. Вместе.

— Ага, — я кивнула, и это «ага» было самым простым и самым честным словом, которое я произнесла за весь день, — я не знаю, что будет через год, или через пять, или через десять. Но прямо сейчас я не хочу, чтобы ты исчезал. Ты — единственный человек, с которым я могу говорить о странных вещах и не бояться, что меня назовут сумасшедшей. Ну, или мы оба сумасшедшие, что тоже неплохо. Так что да, Брукси, ты в моём плане. Привыкай.

Он долго молчал, и я уже начала бояться, что сказала что-то не то, что снова перегнула палку, что напугала его своей громкостью, своей прямолинейностью, своей неспособностью держать мысли при себе, но потом он улыбнулся медленной, глубокой улыбкой, которая шла откуда-то изнутри и освещала его лицо, как маяк освещает берег в тёмную ночь.

— Два социофоба и океан, — повторил он, и в его голосе прозвучала та самая нота, которую я раньше не слышала, — звучит как название книги.

— Вот и напишем её когда-нибудь, — я подмигнула ему, и моё сердце, вопреки всем запретам, пропустило удар, — а пока давай доедим, а то макароны остынут. И, кстати, — я ткнула вилкой в его сторону, — раз у тебя нет телефона, ты просто обязан прийти на мой день рождения. Послезавтра. В «Солёном тюлене». В шесть вечера. Если не придёшь — я лично приплыву к твоей Старой лагуне и вытащу тебя из воды за шкирку. Понял?

— Понял, — он кивнул, и его улыбка всё ещё была там, на его лице, как доказательство того, что чудеса существуют и что самый нелюдимый парень в кампусе может сидеть в столовой и улыбаться, и я подумала, что это, наверное, лучший подарок на день рождения, который я могла бы себе пожелать. Даже если сам праздник ещё не наступил.